
АЛЕКСАНДР
МАТРОСОВ



П. Журба

АЛЕКСАНДР МАТРОСОВ

Повесть



Государственное Издательство
Детской Литературы Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1950 Ленинград

Великий подвиг товарища Матросова должен служить примером воинской доблести и героизма для всех воинов Красной Армии.

И. Сталин





Глава 1

ПОЧЕМУ ЦВЕТЕТ МАК

Скорый поезд Москва — Симферополь остановился утром на станции Запорожье.

Веселые пассажиры, едущие на крымские курорты, сразу заполнили перрон.

В ящике под вагоном чуть приоткрылась дверца. Никто не подозревал, что в этом тесном ящике может ехать пассажир. В щелке показались сначала всклокоченные волосы, потом высунулось черное, как у негра, запыленное лицо мальчика-оборвыша. Настороженно блеснули голубые глаза.

Оглядевшись, он быстро выпрыгнул из ящика и юркнул под вагон. Рукавом мазнул по лицу, стирая пыль, но оно чище не стало. Только с запыленных ресниц пыль стала меньше лезть в глаза.

Он подошел к ящику следующего вагона и тихо окликнул:

— Лорька, живой?

— Та живой, — пропищал голос в ящике. — Тольки дышать нечем. В глотку пылюга набилась. Пить дай, Сашка.

— Ладно, принесу. Не вылазь, а то отстанем.

Саша стряхнул с одежды пыль и, щуря на солнце глаза, пошел искать воду. Ночью поселил он в ящик дружка и считал себя ответственным за его удобство и

благополучие. Жалобу Лорьки на пыль он принял равнодушно. Сам он в пути задыхался от пыли в этом проклятом ящике, глаза у него на лоб лезли от страшного грохота колес и тряски. Вихрь, бушующий под вагоном, казалось, вот-вот сорвет его и бросит на рельсы... Но что поделаешь? Надо же терпеть и некоторые неудобства, если мечтаешь чуть ли не о кругосветном путешествии!

Лето кончалось. Не за горами — зима, и мальчики решили пока проехать в теплый Крым. Но легко сказать — ехать! У них не было ни гроша.

Родился Саша в Днепропетровске в семье рабочего. Но родители его рано умерли, и остался он один с бабусей. Ласковая была бабуся. Ходила с ним смотреть на Днепр, рассказывала про деда — бывалого днепровского лоцмана, как умела, следила за его учением в школе. Потом умерла и она. Где-то на Урале будто была еще тетя, но Саша никогда ее не видел. Других родственников он не знал.

Мальчик страстно мечтал о путешествиях. Он уже много слышал и читал о мужественных людях, которые открывали новые, неизвестные земли. Ему самому хотелось подняться на заоблачные вершины Кавказа, Памира, увидеть горные озера и пустыню Кара-Кум, океанские пароходы и непроходимые джунгли. Пылкое детское воображение влекло его к неведомым приключениям и подвигам.

Но он был всего только мальчик-сирота и не знал, как начать свое путешествие и чем питаться в пути, чтобы не умереть с голоду. Да и милиционер мог поймать его на любой станции и сдать в детский дом.

Саша все же покинул родной город. Так началось его бродяжничество.

Озираясь по сторонам, мальчик шел по перрону и жадно вдыхал свежий воздух. Всё его тело, избитое о стенки тесного ящика, болело. Во рту было сухо и горько. Язык от пыли шершав, как суконка. Наслаждаясь чистым воздухом и думая о своем трудном путешествии, он в толпе шел по перрону к воде, не обращая внимания на людей.

Внезапно его окликнули:

— Саша, ты?

Он обернулся и растерялся. К нему подошла смуглая, как цыганенок, девочка — Люда Чижова, с которой он дружил, когда был у бабуси. Люда жила в соседней квартире, и они часто вместе играли, рисовали. Она обрадовалась встрече. Ей всегда нравился этот прямой, бесхитростный хлопчик. Блеснули ее черные, как спелые вишни, глаза.

— Ой, Сашечка, чего ж ты стал такой! .. — начала она и запнулась.

Но Саша понял по ее взгляду: «грязный», — хотела она сказать. Он небрежно взглянул на ее белоснежную блузку, на пламенеющий шелковый алый галстук.

Неприятна была ему эта нежданная встреча. Только посмеется над ним разнаряженная эта девчонка! Сгорая от стыда и боясь долго задерживаться, чтоб не привлечь внимания милиционера, он хотел убежать, но Люда спросила:

— Ты, может, есть хочешь? — И протянула ему большую грушу-медовку. — Бери!

От голода и приятного запаха груши у него заныло в животе, но Саша отвернулся.

— Отстань, я не голодный! Я пирожными, может, объелся.

— А я круглая отличница, — хвастливо сказала Люда, — и еду с ребятами в Артек. А ты не отличник?

Сашу даже передернуло от ее слов. Отличник! Девчонка явно издевается! Сдерживая готовые брызнуть злые слезы, он гордо выпрямился.

— Езжай себе в Артек, да не суйся не в свое дело! ..

Вдруг по перрону стрелой промчался такой же испачканный, как Саша, малыш, крича на бегу:

— Утекай!

Саша сразу увидел, как милиционер и проводник открыли под вагоном ящик, и тоже побежал, крикнув:

— Лорька, вылезай!

Прозвенел станционный колокол. Люди поспешили в вагоны. Поезд тронулся. Саша из-за пакгауза смотрел на уходящий поезд, и сердце его сжималось от досады: отстал! Что же с Лорькой? Уехал он или его поймали милиционеры?

На станцию возвращаться боялся: поймают. Там нескольких беспризорных милиционеры уже задержали.

Куда теперь итти голодному Саше, вольному, как ветер? Тут, видно, беспризорникам не житье. Даже тошнит от голода! Не пойти ли в ближайшее село? Там скорее подадут что-нибудь. Или в огороде, в саду поживиться можно будет.

Он вышел за город и побрел по берегу Днепра.

★

Мальчик шел, не зная куда. Город остался далеко позади. Слева — почти недвижная голубая ширь Днепра. Только вспыхивали сверкающие блики. Справа — берег реки, то изрытый буераками, то поросший колючей дерезой, кустарниками. На курганах лениво кивали белые султаны ковыля. Порой ветерок нес запахи истомленных зноем чебреца, шалфея и полыни. Иногда открывалась бескрайная степь, уходящая в белесую, дрожащую мглу горизонта. Саша раньше часто мечтал о бескрайных степных просторах, где когда-то запорожцы, как буря, проносились на своих выносливых конях. А теперь грустно и одиноко было мальчику в этом степном раздолье. Он с тоской думал о Лорьке и о том, как ему теперь быть.

Накаленная солнцем земля жгла босые ноги. Он несколько раз припадал к студеным криницам, [1] вырытым на берегу Днепра, видно, пастухами, и жадно пил.

Будто еще острее стал томить голод. Он попробовал есть травы. Наиболее съедобными были стебли купыря, козельца, листья конского щавеля. Но теперь, в конце лета, стебли купыря и козельца были жестки, как веревка, а конский щавель — шершав и горек.

С далеких полей доносился рокот комбайнов, косилок, слышались веселые голоса колхозников. Но Саша обходил людей: они обливаются пóтом, трудятся, и стыдно у них попрошайничать. Да и не любят они шатающихся бездельников, особенно в горячую пору полевой страды. Не вернуться ли ему в город?

Из-за косогора вдруг открылся большой сад. Он широкой полосой тянулся вдоль Днепра. Истомленный мальчик обрадовался и торопливо побежал к саду.

[1] Криница — родник, колодец.

У глубокого рва остановился, посмотрел в сад сквозь густые кусты боярышника и замер от изумления. Перед ним открылось вдруг такое сказочное диво, что с минуту он стоял с открытым ртом, как вкопанный. Рябило в глазах от множества яблок, груш, слив. Отягченные крупными румяными плодами зеленые ветки клонились до земли. Из сада несло прохладой и запахами груш, яблок, дынь, меда.

Он прислушался. Тихо. Только жужжали пчелы, стрекотали кузнечики да изредка глухо стукали о землю упавшие яблоки. Не в силах больше терпеть, Саша протиснулся сквозь густую колючую ограду из кустов боярышника и оказался в саду. Впопыхах он схватил с земли яблоко, стал жевать. Оно было червивое. Он тряхнул дерево — и с десяток больших груш с желтыми подрумяненными боками упали в скошенную траву. Торопясь, он жадно ел сочные, сладкие плоды и совал их за пазуху.

— Стой, а то стрелять буду! — вдруг раздался строгий возглас.

Седобородый дед в длинной холщевой рубахе и в соломенной широкополой шляпе — брыле стоял шагах в двадцати, направив ружье на мальчика.

— Чей ты? — спросил дед.

— Ничей.

— Брешешь! Знаю вас! Батько и маты есть?

— Нет. Я сам себе хозяин.

Дед удивился:

— Ого, якый хозяин! А чего не плачешь?

— Не умею... Пустите, дидуся. Я есть хочу.

— Ну, не растабарывай тут! Иди вон туда, до куреня. А я за тобою. Ты арештованный, — понятно?

— Дидуся, — осмелел Саша, видя дряхлость деда, — пустите, а то всё одно утеку!

— Будешь тикать — стрельну! Чуешь, хлопче?

— А как не буду тикать?

Деду понравился этот смелый хлопчик, и жалость к нему тронула стариковское сердце: «Он же голодный, мабуть, [1] як цуцык».[2]

---

[1] Мабуть — вероятно.

[2] Цуцык — собачонка.

У деда была неутолимая страсть: ему всегда хотелось с кем-нибудь говорить о своем новом, восторженном чувстве, обретенном на старости, а говорить было не с кем. Колхозники давно отвыкли удивляться тому, что́ волновало деда. А с этим бездомным хлопцем можно наговориться вволю.

— Слухай, хлопче, не будешь тикать — накормлю тебя медом, дынями сладкими и всем, що сам тут бачишь. Нам не жалко. У нас всего вдосталь. Тольки воров, як тех паразитов и трутней, сничтожаем... Иди до куреня.

— После того как накормите, чего со мной сделаете? Правда, отпустите?

— Погомоню и отпущу. Верь совести, — отпущу. А захочешь — заночуешь тут. Распалим костер, сказку расскажу. А зовут меня дед Макар.

Саша колебался. Не задумал ли дед его отправить в детский дом? Но есть хотелось мальчику нестерпимо. Он пошел под конвоем деда, жадно глядя по сторонам на обилие фруктов в саду.

В курене на сене лежали кучи яблок, груш, кавуны,[1] большая надрезанная дыня с толстой, сочной розоватой мякотью. Пчелы вились вокруг покрытого рушником[2] глечика,[3] видно, с медом. Запахи всего этого кружили голову.

Дед достал из подвешенной торбы белый пшеничный хлеб, кусок сала, завернутый в капустный лист, и пир начался. Дед, и правда, клал на разостланный на сене рушник перед мальчиком разные фрукты, овощи. Нашлись у деда в макитре[4] и жареные лини да караси, а в миске — белые пухлые пампушки и прочая вкусная снедь.

Выставил он и глечики: один — с медом, другой — с фруктовым соком. Мед — янтарно-золотой, пахучий и прозрачный, какого Саша еще не видал.

— Ешь, ешь, хлопче, на здоровье, — всё подсовывал дед ему. — Бачу, драный ты, як та сидорова коза. Може,

---

[1] Кавуны — арбузы.
[2] Рушник — полотенце.
[3] Глечик — кувшин.
[4] Макитра — большой расписной горшок.



и добра ты от чоловика еще не знал? Я, мабуть, сто годов несчитанных прожил и знаю: жить надо так, щоб людям легче было от того, що ты живешь; чуешь, Сашко? А ты красть хочешь. Тоже мени вор-горобец. По совести жить надо. Совесть — око народа; вот и служи народу по совести. Чуешь, Сашко?

— Чую, дидуся, — отвечал мальчик с наполненным ртом и широко открытыми от удивления глазами. — Чую... чтоб людям легче было, что ты живешь.

— Так добре ж запомни ци слова. На них свет держится. За них люди на смерть шли.

— Запомню, дидуся.

— Ну и добре, серденько... А пить квас будешь чи молоко? В кринице кубышку держу. Там родники, як лед. А може, винограду гроздочку поспелей найдешь.

Саша так насытился, что не мог подняться. Склонился на пахучее сено и, вдыхая различные запахи — фруктов, мяты, шалфея, душицы, — с удивлением смотрит в залитый солнцем сад. Всё здесь необычно и красиво, как в сказке. Тихо — не шевельнется ни один листик. Слышно даже, как вдали изредка падают на землю тяжелые, спелые яблоки. В темнозеленой листве так много краснеет яблок, что, сдается, их нарочно так густо навешали.

А вон села на ветку долгоносая птица, играя на солнце своим пестрым красивым оперением.

— Как жар-птица, — шепчет Саша, боясь спугнуть ее.

— Первый мой лютый ворог, — косится на птицу дед. — Щур. Пчел жре.

А в зелени ветвистой груши мелькает золотисто-желтая птица и лениво вскрикивает, будто по-человечьи спрашивает.

Дед передразнивает птицу:

— «Де я його дила? Де я його дила?» Потеряла, так и шукай, хитрая птаха-иволга, и нечего самые сладкие груши клевать!

Где-то на высоком яворе[1] дремотно воркует дикий голубь: «Ва-вва-уррр, ва-вва-урр!» И ему, видно, го-

---

[1] Явор — пирамидальный тополь.

лубка отвечает: «Угу-у-у, угу-у-у». На кого-то посвистывает синица-пастушок: «Фить, фить, фить».

— А цветы, цветы какие! — говорит Саша, еле успевая осмыслить новые впечатления.

Дед степенно называет цветы: чернобривцы, пивники, паныччи, горицвет, золототысячник.

— Дивчата насадили. Кажуть, нехай, диду, и коло куреня квитки,[1] щоб и вы радовались. То-то глупые... Хиба моя радость тильки коло куреня? Моя радость безмежна, як степь, як небо.

И беспокойный Саша уже просит деда, с радостным удивлением глядя ему в глаза:

— Дидуся, а какую ж сказку вы знаете? Расскажите.

— Знаю, — усмехнулся дед. — Та, бачу, ты до всего жадный. Зараз не маю часу.[2] На пасеку надо. А одну маленьку можу рассказать.

Он подвинулся в тень под грушу, снял соломенный брыль, пригладил редкие сивые волосы на голове, точно готовясь к чему-то торжественному.

— Бач, як мы живем? Сами мы земельку распушили и сад насадили. И всего теперь у нас в колгоспе вдосталь. И чоловик стал добрей. А раньше як жили? Паны да кулаки душили хлебороба за кусок хлеба. Спина моя ще доси болить с того часу, як у пана надорвался. Очи мои ще доси подслеповати с того часу, як дым их ел в курной хати. Каганцем[3] и лучиною освещались, да и за нею в другую губернию ходили. А теперь у нас в кажной хати электро и радио, а в клуби, як солнце, лустры сияють.

Дед указал на яблоньку, облепленную краснобокими яблоками. Подпорки, казалось, держат пышную красавицу под руки и не могут удержать: гнутся под тяжестью ее сочных плодов.

— По-мичурински саженец выходил и прививку сделал, и ось дывысь, що робится, — яблок сила-силуща. Так мы ж скоро засыплем увесь мир фруктою разною да пшеницею, як будем робить по-мичурински. Так ты

---

[1] Квитки — цветы.
[2] Зараз не маю часу — сейчас не имею времени.
[3] Каганец — плошка, светильник.

слухай, Сашко. Було на свете богато царей, князей, панов и всякнх там закордонных богачей. А ить мы счастлнвей, чем те царн, князья н богачи. Верь совести, счастлнвей. А все через що? Ты знаешь, хлопче, от чого у полн мак цвите?

— Не, дндуся, не знаю.

— Слухай, Сашко. Та добре слухай!

Дед расчесал заскорузлымн пальцами белую, как ковыль, бороду, задумчнво посмотрел в сад, пронизанный лучамн солнца. Было тнхо, — только дремотно жужжалн пчелы.

— Был колнсь на свете такой чоловнк — Данько. Страшно бедовал народ от панов-помещиков. Всему хозяин был пан, а простой чоловик, хлебороб, рабом у него был, днн и ночи, всю жнзнь работал на пана, а сам с голоду опухал. И степь широкая — глазом не охватишь, а трудящнй чоловнк жил, як в тюрьме. Так вот той Данькю н стал учнть людей, як нм царей и панов скинуть и волю та землю получнть. И людн сталн объединяться, подниматься на борьбу.

— То запорожцы были, дндуся?

— Мовчи. Слухай... Данька, известно, паны в тюрьму посаднлн, долго мучнли его н требувалн, щоб он отрекся от народа, от правды народной. А Данько на своем стоял. И повелн его за народ — на казнь. Ведут по степям зеленым та пахучим. Пташкн разные под солнцем грают. А на теле Данька раны горят. Чуешь, Сашко?

— Чую, дндуся.

— И в останний час ему говорят паны: «Отрекнсь от народа — мы сделаем тебя богатым. Жнть будешь в золоченых чертогах. Земель н мужнков тебе даднм богато. Всю жнзнь в царском довольстве прожнвешь н николн горя не узнаешь».

А Данько на своем стонт: «Нн, — говорнт, — не отрекусь от моего народа. Краше смерть за народ прниму, а волн он сам теперь добьется, раз познал свою правду н снлу».

И с лютою злобою заревели паны: «Больней бейте его! Огнем палнте!»

Тут не стерпела, заплакала Данькова мать: «Паны-злодеи убьют тебя, сыночек!»

А Данько отозвался: «Не плачьте, мамо. Вы ж сами учили меня любить народ и жить по правде. А правда — сильней смерти».

И от слов таких зашаталася мать, як та калина от бури. И коли стала падать, люди подхватили ее под руки, сказали ей: «Спасибо тебе, добрая мать, що такого сына вскормила и взрастила на счастье народа». И мать поняла: не плакать, а гордиться ей надо таким сыном.

И ведут паны Данька по степи на казнь, и плетюгами стальными стегают, рвут его тело белое. А Данько всё идет и голову поднял высоко, будто глядит за горы, за тучи.

Кровь его на землю часто-часто капае — кап-кап-кап. И где упадет капля его крови, там и мак расцветет, такой же красный, як та кровь. Вот с тех пор и зачал цвести на полях мак, щоб люди не забували Данька. Так-то, хлопче...

Саша, сдвинув тонкие изогнутые брови, зачарованно молчит.

Вспомнил и он свою мать. Вот будто как во сне: тихо положила свою руку на его голову, нежно погладила: «Баю-баю, баю-бай! Тише, ветры, не шумите и Сашеньку не будите»...

Он устремил ясные, внимательные глаза на деда:

— Дидуся, дидуся, а дальше что?

Дед Макар, очнувшись, повернулся к нему, шевельнул белыми усами, приподнял нависшие и тоже седые брови. Глаза его по-детски блеснули:

— Вся, сынку, сказка.

— Ой, до чего ж хорошая сказка, дидуся! На всю жизнь ее запомню. Верьте совести, запомню! — И Саша быстро вытер глаза.

Дед ласково взглянул в эти пытливые голубые глаза.

— Эге, хлопче, а сказал, — плакать не умеешь.

— Я не плачу, я веселый, дидуся... Так хорошо про него сказано! «И плетюгами стальными стегают, рвут его тело белое, а он всё идет и голову поднял высоко»... Как дальше, дидуся?

И мальчик всё допытывался, повторяя слово за словом всю сказку.

Потом дед поднялся и сказал:

— Ну, добре. А теперь, хлопче, иди до Днепра, вымойся там, одежу свою помой. И де ж ты тильки так замурзался? Иди и скорей вертайся, — чуешь?

Саша точно от сна опомнился, удивился:

— Отпускаете?.. А как утеку?

— Ежели ты чоловик, а не хорь, то вернешься... Чи як?

Саша задумался. Потом сказал:

— Вернусь, дидуся. Верьте совести, вернусь!

Он подхватывал понравившиеся ему слова, поговорки, запоминал поступки людей и подражал им. Теперь ему понравились дедовы слова: «верь совести».

— Верю совести, — ответил дед. — Бери ось тутечки мыло. Иди. — И сам, не оглядываясь, пошел на пасеку.

Саша постоял с минуту, глядя деду вслед, вздохнул.

«Ну и чудной же этот дед Макар! К Днепру отпустил. Да я ж могу сразу убежать!»

Отяжелевший от сытного угощения, он медленно пошел к Днепру.

Но тут же Саша увидел близ куреня маленький круглый столик, на котором что-то блестело.

— Часы, — прошептал он, еле переводя дыхание и глядя на большие старинные серебряные часы. Еще на столике торчала стрелка и вокруг нее — цифры. Он догадался: солнечные часы. Дед, видно, сверял с ними свои карманные — и позабыл. Саша вздрогнул от невольной мысли, быстро оглянулся, и у него даже в глазах помутилось: у куреня стояло ружье, прислоненное дулом к стволу груши.

Саша заколебался. Часы и ружье! Только представить себе, что̀ он, Саша, сможет совершить, обладая этим! Можно в лесу жить одному и охотиться на дичь. Можно...

Он схватил часы. Они будто ожгли его руку.

«Верю совести», — вспомнил он последние слова деда. Того деда Макара, кто так добродушно и щедро накормил его, лаской согрел его сердце.

С минуту он стоял, будто прирос к земле. Две силы боролись в нем. Потом он быстро, как раскаленный уголь, положил часы на стол и побежал, сгорая от стыда и будто убегая от самого себя.

Он торопливо купался и стирал одежду в Днепре, боясь, чтоб дед не подумал, что он сбежал. Потом, в сырой еще майке и веревочкой подвязанных штанишках, подошел к деду, чистый, веселый:

— Диду, что вам помочь делать?

— Помогай, — сказал дед. — Сбегай, шугни галок на винограднике. Ще и не поспел виноград, а клятая птица шкодыть.

До вечера Саша помогал деду: крутил медогонку, выкачивая мед, собирал по саду упавшие груши и яблоки.

Вечером они обходили сад. Саша вертел трещотку, рассыпавшую в тишине дробь, как пулемет. Дед рассказывал о повадках птицы и зверя. И чем больше над садом сгущалась темнота, тем ярче разгоралось на юге над Днепром зарево.

— То пожар какой, дидуся?

— Ни, то Днипрогэс. — И дед вдруг оживился. — Ой, хлопче, такие, такие чудеса я там бачив, що и думкою не постигну! Як ввели мене в называемый зал пульта, откудова инженеры управляют всем Днипрогэсом, я и обомлел. Подо мною и надо мною и кругом всё блещить, аж глазам больно. Снял я шапку и кажу: тут, кажу, краше и чище любого чертога и храма! А инженер смеется: це, каже, дидуся, и есть храм науки. И кругом горять лампочки, лампочки, малюсеньки, як совиный глаз, красные, зеленые, желтые.

Под водою там, в железобетонных каморах крутятся разные машины, а лампочки всё-всё говорят про них. Такое уже там, хлопче, устройство: поверни рогулечку одним мизинцем — и внизу загудят, загуркотят страшенные машины. Днипрова сила гоняе поезда, за сотни верст на заводах круте станки, варе сталь, дае свет городам и селам. А ты бачив на полях электроплуги? Без вола, без коня — сам плуг паше. Во сказка! А там в ящичке Днипрова сила, она и тягне. И чего ще додумались — коров электричеством доить... Бачь, як раздобрився старый Днипро: всю силу свою чоловику дае! Так-то, Сашко.

Дед рад собеседнику. Чувствуя близкий конец своей жизни, дед тем страстнее любил всё, что было в ней нового, а новое — в людях, в их делах — возникало каждый день. Душа его переполнялась восторженным чув-

ством. Ему хотелось говорить с кем-нибудь. Иногда он даже говорил сам с собой. Или заговаривал с деревом: «Растешь, яблонько? Расти, расти, та будь щедрая».

Они сели на траву. Дед охотно рассказывал Саше о дивах, рожденных Днепрогэсом, о мичуринских саженцах и прививках, о саде, который сам сажал.

— Та кто ще мае такой сад, як наш колгосп «Червоный партизан»? Ить в нашем же саду всё есть! А це ж мы годив за восемь такого дива добились. А через десять, двадцать годив якая жизнь стане?

— Дидуся, а может человек такую машину построить, чтоб управляла тучами и ветрами?

— Ишь ты куда стребнул! — удивился дед. — Все вы такие, молодые. Всё вам знать и уметь хочется. Есть у мене внучек вроде тебе. Петриком звать. Тоже всё допытывается, як ты.

— Петрик?

— Ну да, Петро Антощенко. В газете про него писали. Больше всех пионеров колосков насбирал. Так, говоришь, управлять тучами и ветрами? — И, подумав, ответил: — Эге, хлопче, може чоловик управлять усем. Чоловик усе може... И мене, Сашко, умирать не хочется. Ой, не хочется!.. Життя такое пошло — дивуюсь не надивуюсь. Знаю я одного хлебороба — Дениса Лысенко. Так себе хлебороб — миллионы у нас таких. Так сын его Трохим академиком стал и на весь свет прославился, — чуешь? А бывшая панская батрачка наша Марыся Неделя членом правительства стала. Та що там казать!.. Наша учителька Василина Игнатовна в реестрик записуе знатных людей, що з народу вышли. И скольки ж их таких, як той Трохим чи Марыся! Так я слухаю-слухаю про наших людей и гордый становлюсь. Чуешь, в якую силу входим? Та ты, хлопче, ще ничего и не разумеешь.

— Нет, разумею, дидуся.

— Главное що? Чоловик становится краше и сильнее. К примеру, бедняк раньше всю жизнь свою бился из-за куска хлеба. И мы на панов бывало раньше робили так, що глаза на лоб лезли, а хвалы за то не було, та ще и урядники та стражники по зубам били. И черно було на душе. А зараз куды ни глянь — хозяин ты всему и радый всему. Так-то, хлопче. А скольки дива в садах буде

годов через десять, если так будем робить, як Мичурин каже!

Саша думает о знатных людях из народа. Потом говорит деду, что и он знатного роду. Бабушка рассказывала ему, что его прадед Матросов был тут на Запорожье лучшим новокодацким лоцманом. Он искусно проводил суда через все пороги, даже через самый страшный порог Ненасытец, где кипящие и ревущие буруны вдребезги, в щепы разбивали корабли о гранитные скалы.

Хороший был прадед. Сильный, как богатырь. И дело свое хорошо знал. Хозяином Днепра люди звали его. От него и фамилия их началась. И еще был знатный Матросов, который в 1905 году совместно с Матюшенко подымал восстание на броненосце «Потемкин». И его постигла та же доля, что и прадеда, — на каторге замучили. Что ж, и он, Саша, может стать знатным человеком и добиться того, о чем говорит дед Макар.

— А я вот, дидуся, очень-очень хочу путешествовать. Вы слышали про Тибет? Нет? И на Кавказе и в Крыму не были? Нет? А я вот хотел попутешествовать, хотел и... потерялся.

— Потерялся? — усмехнулся дед. — Ты чоловик, а не иголка. У нас чоловику неможно потеряться... Ишь, путешественник! Перекати-поле ты, а не путешественник. А как будешь учиться и старших слухать, станешь и ты знатным чоловиком. Будь тильки, як Данько, смелый и честный. Эге, таким будь!

По темным, точно бархатом покрытым берегам широкой реки — сверкающая россыпь огней. Там — невидимые теперь села, куда тоже вошла сила Днепра. Местами по реке струятся золотисто-голубоватые полосы. От реки тянет прохладой.

Кругом тихо, тихо. Только всё еще дремотно стрекочут кузнечики, да вскрикивают в полях перепела и чибисы у реки.

Вдруг над рекой поплыла песня, широкая, как Днепр:

Солнце низенько, вечир близенько.
Спишу до тебе, лечу до тебе,
Мое серденько.

Дед усмехается:

— На човнах от стану до села плывут дивчата и хлопцы. Не хочуть, ленивые, пишечком по пыльной дорози — так на човнах... Ну, пойдем, внучек, до куреня. Костерок растопим, повечеряем, да и спатоньки в курене на сене ляжешь. Укрою тебя кожухом, мягенько, тепло буде.

Саша задумчиво смотрит на Днепр. В мутном лунном свете челны плывут, как цветочные островки. У дивчат в руках целые охапки цветов и на головах — венки. Смотрит на бесконечную звездную россыпь и глубоко вздыхает.

Нет, никогда и никто еще не говорил ему такие ласковые слова, как этот дед!

— Ой, до чего ж тут хорошо, дидусь!.. Нет, я еще спать не хочу, погомоню с вами. Можно?





Глава 11

НОВАЯ СЕМЬЯ

Сашу доставили в Уфимскую детскую воспитательную колонию в конце апреля. Уже сильно пригревало солнце. Весело звенели ручьи. В оврагах дотаивал почерневший ноздреватый снег, а на пригорках уже ярко зеленела трава, желтели одинокие приземистые цветы мать-и-мачеха.

В колонии с высокого холма он взглянул вокруг. Открылись далекие луга, леса, еще темные, но с еле заметными зеленоватыми оттенками, разлившиеся реки — Белая и Уфимка. В синем солнечном небе — торжествующий перезвон жаворонков, манящие журавлиные зовы.

Он тоскливо поморщился, с завистью глядя на улетающих журавлей. Не так всё пошло, как он предполагал. Ушел он от деда Макара с твердым решением — разыскать на Урале тетю Аню. После дедовой ласки ему захотелось иметь свою родню. Тетю Аню он никогда не видел, но представлял себе ее такой же доброй, какой была мать. Но тетю Аню он так и не разыскал. По дороге на Урал он пристал к двум попутчикам, таким же оборванцам, как и сам. Потом у них оказалось много заманчивых путей, и Саша заколесил по свету с новыми спутниками. Они называли путешествием свое бродяжничество.

Теперь он вспоминал вечер, когда милиционер задержал его в Саратове, на Чапаевской улице. Из-за Волги надвигались сумерки. Сентябрьский вечер был чист и свеж. Изредка налетал из-за угла зябкий ветерок. Саша

вздрагивал. Одет он был легко: пиджачок, матросская тельняшка, кепка, стоптанные тапочки.

Тяжело было у Саши на душе. Он ведь хотел только еще немного попутешествовать, чтоб больше знать, а невольно стал беспризорником и попал в колонию.

Он тосковал здесь.

«Всё равно убегу, — думал он, — осмотрюсь и убегу. Никакие цепи меня тут не удержат. Помотаюсь по свету, насмотрюсь на всё, а потом сам пойду в детдом или поступлю на завод».

Его направили в школу учиться и в слесарный цех мебельной фабрики — работать после школьных часов.

В школе учительница Лидия Власьевна ласково спросила его:

— Родители у тебя есть, сынок? — Сама она одинока. Мужа-большевика убили белые в гражданскую войну, а единственный сын недавно добровольно ушел в Красную Армию. И всю материнскую любовь и ласку она старалась отдать воспитанникам. — Что же ты не отвечаешь?

Он молчал. Огрубел, пока беспризорничал, и к людям стал относиться с недоверием. Ему казалось, что на него смотрят все с жалостью или даже с презрением, как на пропащего. Решив бежать из колонии и не желая притворяться и кривить душой, он избегал разговоров.

Седой, сухонький мастер слесарно-механического цеха, Сергей Львович, заметив замкнутость новичка и его грубые ответы старшим, спросил его:

— Что невесел, паренек? Надо тебе что или обидел кто?

— Пожалеть хотите? — метнул Саша злобный взгляд. — Не хочу, чтоб меня жалели! Милостыньки не прошу. Я советский, а не какой-нибудь! Противно.

— Ишь, ерш какой! Гордость-то имеешь, но гордость без знаний — мыльный пузырь. Сначала научись уму-разуму, полезному делу, тогда и гордись. А ты еще в трех соснах можешь заблудиться.

Саша отвернулся, себе под нос буркнул:

— Нужна мне ваша учеба, как хомут ястребу! И так не пропаду.

— Ну-с, вот что... — сурово проговорил мастер. — Не жалеть, требовать пришел к тебе. Напильник так

держи. Не дуйся! Прямо тебе говорю — нянчиться, упрашивать не буду А хочешь быть человеком — учись, работай честно; помогу во всем. Почему тиски не вытерты? Почему мусор под ногами? Мне за тебя убирать?

«Придира!» — злобно подумал Саша и промолчал.

Раз от скуки зашел он вечером в клуб и удивился веселой беззаботности воспитанников. Гармонист Виктор Чайка так задушевно играл на баяне, подпевая порой, что все замирали, слушая его. Прислонясь к стене, заслушался и Саша Он сторонился ребят. Но его манили их развлечения А музыку и песни он всегда любил.

— Хорошо, Чайка! Здóрово, Виктор! — кричали гармонисту.

Потом Еремин, отменный рассказчик, выдумщик и чтец, рассказывал сказки, читал, представляя в лицах, басни Крылова А в другом углу Брызгин показывал ребятам на витрине свои и чужие рисунки.

— Вот бился, бился, — сетовал курносый паренек, — ну никак не схватишь живую воду реки Белой, когда она, понимаешь, бликует на солнце. Ну, как у Айвазовского играет море или у Куинджи — Днепр при луне. А снег на зеленых елках — здóрово... Белый-белый, аж глазам больно.

Саша с завистью прислушивается. Раньше и он рисовал Днепр и добивался, чтобы вода поблескивала, как живая.

Брызгин — староста корпуса, в котором живет Саша, — заметил отчужденность нового воспитанника и пригласил его:

— Чего там в углу притулился? Иди смотри наши рисунки.

Но Саша резко ответил:

— Больно мне нужна твоя мазня! — И повернулся к гармонисту.

Чайка, играя, улыбчиво смотрел на ребят счастливыми глазами и как бы спрашивал: да понимают ли они всю прелесть звучания песни? Смотрел он и на Сашу, на расстегнутый и лихо откинутый ворот его черной сатиновой рубахи, из под которой выглядывала полосатая матросская тельняшка Ему было приятно, что Саша так внимательно слушает его. Но вот глаза их встретились. И Чайка, перестав играть, подмигнул:

— Будь как дома, парень. На что стену подпирать? Ближе сюда иди.

Саша ничего не ответил.

Чайка тряхнул белесым вихром, припал щекой к баяну и заиграл еще горячее, подпевая:

Выйду ль я на реченьку,
Выйду ль я на быструю...

И Саша опять заслушался.

Возвращаясь из клуба, Саша подумал: «Что ж, от тоски можно и сходить туда...» Но ребят сторонился, грубил им и из-за пустяка лез в драку.

В другой вечер, во время обычного веселья в клубе, туда вошел худенький паренек с лицом в шрамах.

— Ты меня не признал? — обратился он к Саше.

Выяснилось, что они когда-то вместе ехали на крыше вагона.

— Щукин — моя фамилия. Только ребята меня всегда Жаком Паганелем называли. Как же ты забыл?

Саша, и правда, не узнал его, но важно было другое: паренек, отчаянно прищурив один глаз, предложил Саше бежать из колонии. Он пискливо крикнул:

— Эй, Кленов, сюда!

Высокий и толстый неуклюжий увалень подошел к ним и до хруста сжал Сашину руку.

— Терпи, — мрачно ухмыльнулся Кленов. — Железные решетки и ломы гну этими руками. И, как сказать, не родился еще человек, какого б я побоялся, — хвастливо закончил он.

Жак Паганель, юркий и маленький, неуверенно хихикнул:

— Он такой! Страшенная сила... Так вот мы с ним всё и обдумали, — таинственно подмигнул он. — Подговорим еще с десяток — и махнем.

Сашу обрадовала эта встреча с неожиданными единомышленниками. Договорившись с ними о побеге, он тут же понял: он, Саша, будет у них вожаком, потому что силач Кленов — малограмотен, географии не знает, глуповат, хотя и очень самоуверен, а Паганель по малолетству и слабосильности своей заискивает перед ним.

Все трое заговорщицки пожали друг другу руки.

— Значит, дружба и тайна.

— Башку отвинчу тому, кто тайну нарушит! — пригрозил Кленов.

И снова Сашей овладела неодолимая страсть к путешествиям. Всю ночь и день он думал о самых заманчивых и трудных маршрутах, необычайных приключениях и с волнением ждал сигнала. В школе и в цехе он был рассеян, отвечал невпопад, работа у него валилась из рук.

Учительница Лидия Власьевна, мастер Сергей Львович и воспитатель Кравчук, встретясь, с тревогой поговорили о странном поведении Матросова.

— Хлопот с ним будет много, — вздохнула Лидия Власьевна. — Очень он своенравный.

— Ничего, — сказал Кравчук, — я уже знаю его стремления.

Как-то вечером Виктор Чайка пригласил Сашу в столовую ужинать. За столом ребята посмеивались, говорили о ком-то.

— Он ведь граф, наверное, или лорд... Важная особа!

— Барин, барон или баран, словом, бездельник, потому и не желает работать и учиться.

— А может, он слабенький и на курорт его надо?

— Ленью заболеть изволил.

— Ничего, одного дармоеда-лодыря сообща как-нибудь прокормим.

Ребята на Сашу не смотрели, будто его тут и не было, и он не знал толком, о ком они говорили, но их едкий говорок жег, кажется, самое сердце его. Он ел всё медленнее, потом хлеб застрял в горле, и он бросил ложку, пролез под столом и выбежал из столовой.

У скверика его догнал Виктор Чайка:

— Ты почему из столовой убежал? Ведь ребята про Кленова говорили.

Саше не легче оттого, что говорили не о нем. Слова ребят явно относились к нему.

— Кленов мой друг, — вспылил он, — значит, всё одно, что и про меня говорили.

— Плохо же ты выбираешь друзей. А у нас ведь много хороших ребят. — И, помолчав, запросто спросил: — Ты что, парень, всё маешься, сторонишься? В кружок бы какой записался, что ли. Веселей жить будешь.

Саша взглянул на замасленную рубаху Чайки, только что вернувшегося с работы, на его огрубелые мозолистые руки, в кожу которых въелись металлическая пыль и мазут, загадочно усмехнулся:

— Поинтересней кружка дело есть. Такое дело, что и ты, может, пойдешь со мной.

— Бежать из колонии? Нет, я уж набегался. Бегал из четырех детдомов и трех колоний. Пора за ум браться.

Саша уже не слушал его. Около школы он увидел своего единомышленника Тимофея Щукина и радостно подбежал к нему.

— Ну, как, Жак Паганель, скоро в полет?

Щукин замялся:

— Не знаю. Пусть тот летит, у кого хвост длинный.

— А ты? — почти вскрикнул Саша, чуя недоброе.

— Я раздумал. Убегать из колонии не буду.

Саше поступок Щукина показался верхом вероломства, а у него и без того плохое настроение. Сгоряча он ударил Щукина. Тот от испуга и боли громко закричал.

Пришел воспитатель Кравчук и стал искать виновных.

Щукин не посмел жаловаться на Сашу. Но тот сам выступил вперед:

— Я ударил Щукина! Еще ему не то будет!

— Вот и заработал десять суток изолятора, — тихо сказал Кравчук и будто уколол серыми пронзительными ледяными глазами. — Но малый ты, как видно, смелый и откровенный. Поговорим еще...





Глава III

ПУТИ К ЗВЕЗДАМ

Первые двое суток Саша просидел в изоляторе бездумно — ел, спал, иногда напевал что-нибудь — и ждал. Вот-вот придет Кленов, откроет дверь и скажет: всё готово, можно бежать. Но Кленов всё не шел. Саша стал задумываться. Пропал вкус к еде, сон. Ночью в изоляторе — гнетущая тишина. Только изредка шальной весенний ветер гремел железом на крыше. Саша думал всю ночь. Но даже думы о побеге не давали никакого утешения. Ничего доброго не сулил побег, и Саша с отчаяньем думал: «Всё-таки уйду. Всё равно я пропащий»...

Вечером к нему в изолятор пришел воспитатель Кравчук и, скупо улыбнувшись, сказал:

— Навестить пришел тебя. Ну, как живешь?

Саша встретил его с враждебной настороженностью: «Пришел проверить, не убегу ли. Сам же загнал в эту кутузку, да еще спрашивает, как живу».

— Хорошо живу, — холодно ответил Саша. — А вы пожалеть пришли?

— Да что тебя жалеть? Жалела Маша ежа, да сама накололась. Ты уже не маленький, сам за себя постоишь. Мне, знаешь, даже понравилось, что ты не юлил, не прятался в кусты, а прямо и честно признал свою вину. Я хочу об интересных делах с тобой поговорить.

«Хитрый, — оживляясь, подумал Саша, — да меня на удочку не возьмешь! Со скуки, пожалуй, поболтаю с тобой». И первый тоном экзаменатора спросил:

— О Козлове знаете?

Кравчук сел к нему на кровать.

— О городе, который называется теперь Мичуринском, или о путешественнике спрашиваешь?

Саша испытующе взглянул на воспитателя:

— Ага, про путешественника.

— Мне особенно нравится то, как Козлов разыскивал в пустыне Гоби таинственный мертвый город Хара-Хото, — начал Кравчук, оживляясь. — Знаешь об этом? Нет?

— Говорите! — требовательно сказал Саша.

— Когда-то в древности в Хара-Хото жило много людей. Потом исчез этот город, вместе с ним исчез и целый народ «си-ся». Вот ученые и хотели узнать, что это за народ, как он жил, почему исчез с лица земли: если сам вымер, то отчего, если истреблен, то кем и почему. Понятно? Раскопки открыли бы ученым тайну этого города, или, как тогда говорили, тайну Гобийской пустыни. Но даже развалин мертвого города ученые найти не могли. Пустыня велика и страшна, а путь к городу неизвестен. Знали его только буддийские попы — ламы, но они нарочно обманывали ученых, посылали их совсем в другую сторону. А Козлов решил: «Чего бы это ни стоило, а Хара-Хото найду».

— Нашел или нет? — нетерпеливо спросил Саша.

— Да, можешь представить себе, сколько Козлову пришлось дум передумать, изучая все обстоятельства розысков, и как трудно было искать Хара-Хото! И всё-таки Козлов нашел мертвый город.

— Ух ты какой! — облегченно вздохнул Саша. — Ну и что?

— Раскопки превзошли все ожидания. Было найдено много древней утвари, рукописей, картин. Находки Козлова обогатили науку.

— Еще говорите!

Кравчук усмехнулся:

— А как в Кашгарских пустынях Центральной Азии вел себя Козлов! Понимаешь, — кругом бесконечные мертвые песчаные барханы. Обжигающий зной и песчаные бури валили с ног людей. Часто нехватало воды, и ее делили по каплям. Но Козлов с неодолимым упорством добивался своей цели. Одиннадцать раз ходил он в дальние разведки...

— Какая ж цель была у него? — с притворным равнодушием спросил Саша.

— Изучал историю и быт народов Азии, изучал растительность, птиц и животных. Да его всё интересовало, что полезно для науки!

Саша вздохнул. В глазах его горел беспокойный огонек.

— Еще, еще говорите, Трофим Денисович! Только подробней, пожалуйста.

В изоляторе стало совсем темно. Только синяя ночь, мигая звездами, заглядывала в окно.

Саша слушал Кравчука, не прерывая. Рассказав о Козлове, Кравчук подошел к окну:

— Ишь, красота какая! Весь Орион поднялся.

— Чего это? — спросил Саша.

— Созвездие. Что-нибудь понимаешь в звездах?

— Нет. А что в них понимать? Расскажите.

— Ну, смотри на эту вон звезду, в левом углу окна. Это звезда Бетельгейзе из созвездия Орион. Жара там — три тысячи градусов! Ну-ка, подойди сюда. А внизу вон, справа, в том же созвездии — звезда Ригель. Тринадцать тысяч градусов. Понял? А вон туда смотри — самую яркую звезду видишь? Ишь, переливается цветами, как бриллиант. Сириус это. Триста тысяч километров в секунду пролетает луч света, а от этой звезды до нас он долетает только через девять с половиной лет.

— Ух ты, как далеко! — изумился Саша.

— А большинство звезд еще дальше, и свет от них, понимаешь, доходит только через миллионы лет, — понял? Но астрономы знают не только расстояние до многих звезд, но и их температуру, вещество и даже вес...

— Хорошо быть астрономом, — тихо сказал Саша и подумал: «Ишь, как завлекает меня воспитатель, как расписывает». Но тут же спросил: — А кем лучше быть, как думаете, Трофим Денисович?

Кравчука радовали такие вопросы воспитанников. Он сразу становился добрее, подвижнее... Быстро зажег свет, вытащил из бокового кармана записную книжку, вынул из нее золотистый засушенный веерообразный листик и, горячась, заговорил:

— Смотри, называется гинкго. Древнейшее дерево на



земном шаре. Порода его существует около пятисот миллионов лет, — понял? — Широко открытые от возбуждения глаза Кравчука блестели. Он, видно, сам еще удивлялся сделанным открытиям и старался вызвать интерес к ним у хмурого слушателя. — Гинкго, видишь ты, было еще до папоротниковых, из которых мы каменный уголь добываем. От него и началось разделение на хвойные и лиственные. Занятно, а? У нас гинкго — редкое. Я в Крыму всего три деревца видел. И там же видел мамонтово дерево. Оно до четырех тысяч лет живет.

— Ух ты! Как долго!

— А сколько разного дива в ботанических садах есть! Ай-ай, глядишь и не наглядишься! Тысячи и тысячи разных растений. А вот наш Мичурин начал создавать новые виды фруктовых деревьев. Заставляет их расти там,

где хочет человек, и приносить новые, невиданные плоды. Например, на севере вырастут какие-то особенные персики, апельсины, лимоны. Понимаешь, сколько тут будет чудес? — И значительно заключил: — Преобразователи природы! Разве плохо этим заняться?

— А они путешествуют, ботаники? — привстал Саша.

— А как же! Ботаники по всему свету путешествуют, изучают растения.

— Хочу быть ботаником, — сказал Саша. — Я потому, знаете, чтобы путешествовать, и хочу убежать...

Кравчук сделал вид, что не заметил, как проговорился Саша, и хитро ухмыльнулся:

— Эге, но почему же ты не путешествовал раньше?

Саша с горечью, но искренне рассказал о своих неудачах.

— То-то и оно! — усмехнулся Кравчук. — Беспризорничество не путешествие, — чепуха, жалкое нищенство. Чего зря мыкаться по свету, как бездомная собака? Наш советский человек — гордый и на это не пойдет. Надо сначала выучиться, стать ученым и путешествовать для пользы науки, для пользы народа, как Миклухо-Маклай, Козлов, Пржевальский.

«Да, да, надо учиться, чтоб, как они...» — думает Саша.

А взволнованный Кравчук уже говорит о другом:

— А как строились города, лучшие дворцы — не знаешь? — И говорит о красивейших зданиях мира, об архитектурных ансамблях Москвы, Ленинграда, о возникающих новых городах.

— Архитектором тоже хорошо быть, — шепчет Саша.

— Постой, постой, хлопче! — смеется Кравчук, потирая руки. — А машины? — И с увлечением говорит о точнейших машинах, обрабатывающих оптические, измерительные приборы, о турбинах и блюмингах, о моторах, радиостанциях.

— Хочу быть инженером-электриком! — волнуется Саша. — Или лучше механиком?

И Кравчук хохочет на весь изолятор:

— Ну и жадный ты! Может, захочешь еще и картины рисовать?

— И хочу, хочу, — убежденно твердит Саша. — Я рисовал Днепр...

Вершина созвездия Орион уже накренилась к западу: было заполночь.

— Да что ж это я? — вдруг спохватился Кравчук, недоумевая, как это с ним произошло. — Шел по делу и разболтался тут зря...

— Ой, не зря, Трофим Денисович. Так интересно! Да мне бы хоть маленькую долю того знать, что вы... А то я, как тот крот.

— Я тоже был, как крот, когда беспризорничал. Вспомнить противно и страшно. Так можно было сто лет прожить, как сорная трава, и ничего не знать. А чем больше знаешь, тем больше видишь и понимаешь, тем и жизнь краше, — понятно? И ты ведь тоже можешь быть, кем хочешь... Да что же это я всё говорю?..

Саша испугался: вдруг Кравчук сейчас уйдет! Поспешно спросил:

— А сказку про Данька и полевой мак знаете? Нет? До чего ж хорошая сказка! Ну, слушайте, я вам расскажу. От одного деда-пасечника слышал. — И стал рассказывать с таким увлечением, что подпрыгивал на койке, взмахивал руками. — И до чего ж смелый был Данько! Понимаете, ему и золоченые дворцы, и богатую жизнь паны обещали, а он на своем стоял. Даже казни не побоялся!

— Да, были такие, — вздохнул Кравчук, внимательно выслушав взволнованный рассказ Саши, и про себя решил: видно, запала пареньку в сердце дедова сказка на всю жизнь, как добротное зерно, и дала росток. Однако этот росток мог одичать и заглохнуть. Значит, нужен ему каждодневный и тщательный уход.

Кравчук вынул из-за пазухи книжку и протянул ее Саше.

— Вот почитай. Про Пашку Корчагина. Вот человек был!

Он хотел уходить, но Саша спросил:

— А где вы, Трофим Денисович, беспризорничали?

— Не спрашивай, — нахмурясь, сказал Кравчук. — Никогда больше не спрашивай об этом. Ничего не скажу. Вспоминать тошно. Будто это был страшный сон.

— Кто же вам помог стать другим?

— Сама наша советская жизнь, советские люди.

— Мне еще одно хочется спросить, — не унимался

Саша. — Я — в изоляторе и вообще... а вы тут со мной возитесь. Почему?

— Чудак ты, Саша. Значит, верю в тебя. Ясно?

И еще хотел сказать, какая радость найти в уличном оборвыше человека и указать ему новую, светлую дорогу, но не сказал.

Саша посмотрел в глаза Кравчуку, вздохнул:

— Хочется и мне учиться. Только трудно очень.

— Трудно? Терпение и труд всё перетрут, сокол мой ясный! — Голос Кравчука дрожит от возбуждения.— Вы сами, наши ребята, не подозреваете, каких чудес натворите, если учиться будете. И всю землю преобразуете, и невиданными машинами будете управлять, и в ракетных самолетах по вселенной путешествовать. Что сказал товарищ Сталин? Нет таких крепостей, каких не взяли бы большевики.

Саша слышал эти слова, но только теперь начинал понимать глубину их смысла и обрадовался:

— Значит, всё-всё можно уметь?

— Надо только хотеть. Только вот что помни, Сашук: народ человеку дает эту силу, народу и служить надо от всего сердца. Понял?

— Понял, — вздохнул Саша. — А вы большевик, Трофим Денисович?

— Ясно, большевик. А как же?

Саша задумался. Да, надо только учиться, учиться, и весь необъятный прекрасный мир станет доступным. И, может, именно он, Саша, поведет дальние научные экспедиции, океанские корабли, будет управлять невиданными машинами. Да, просто посчастливилось ему, что живет он в стране, где всё возможно и доступно! В услышанных здесь, всем известных словах открывался теперь иной, покоряющий смысл, иной мир, мир головокружительных возможностей и настоящего счастья.

После он еще много раз говорил с Кравчуком, но эта первая беседа особенно взволновала его и неизгладимо осталась в памяти.

Кравчук помолчал и неожиданно стал суров:

— Ты мне, хлопче, вот что скажи... Мне это очень важно знать, — понял? — Кравчук взял его руку, сжал ее. — Скажи, кто готовится бежать из колонии?

Саша вздрогнул и выдернул руку из руки Кравчука.

Напоминание о побеге вернуло его к прежнему, теперь противному строю мыслей и переживаний.

— Не сердитесь, Трофим Денисович. Не могу сказать... Про себя всё скажу, а про других не могу. Лучше не спрашивайте.

Кравчук не обиделся, но сразу заторопился:

— Ну, пора, пора спать, голубчик. Понятно?

«Постойте, не уходите, еще побудьте со мной!» — хотел крикнуть Саша, когда Кравчук скрылся за дверью, но смолчал, как-то сразу обмяк.

Он долго ворочался на жесткой койке и не мог уснуть. Да, и для него пришла пора выбора житейских дорог, интересных дел. Куда же и на что он тратит свои юные годы? И подымалось из глубины души всё зароненное туда жизнью — дурное и хорошее. Нет, дурное только щекочет нервы и не дает услады. А что было хорошего в его беспокойной бездомной жизни? Вот раздолье Днепра, речные струи, сверкающие на солнце днем и озолоченные огнями Днепрогэса ночью...

«Дидуся, дидуся, что ты мне говорил тогда про жизнь, про людей, про полевой мак? И слова твои, дидуся, заросли бурьяном, полынью».

Ветер опять загремел железом на крыше. Саша замер, прислушался: может, Кленов идет сказать, что к побегу всё готово? Убежать? Куда? Зачем? Но ведь так было решено! А может, остаться? И он заметался на койке, ища решения: бежать — остаться, бежать — остаться...

Надо было всё-всё рассказать Кравчуку. Он бы правильно посоветовал. Теперь Саша вспоминал минуты, проведенные с ним, как светлый праздник. Словно театральный занавес раздвинул перед ним этот душевный Кравчук и показал невиданные человеческие дела и сказочные возможности. Что же делать — бежать или остаться? Спазма сдавила горло, и Саша, стыдясь самого себя, уткнулся разгоряченным лицом в жесткий соломенный тюфяк.

★

Утром Саше в изолятор завтрак принес Тимофей Щукин. Саша недоумевал, почему именно Щукин, с которым они разошлись врагами и из-за которого теперь

он, Саша, сидит в изоляторе? Это была, видно, проделка Кравчука. В другое время Саша, может, дал бы Щукину подзатыльник, но теперь молча взглянул на завтрак и усмехнулся. Потом пристально посмотрел Щукину в глаза. Тот выдержал его пытливый взгляд, — значит, чувствовал свою правоту. И в ту минуту, когда они смотрели друг другу в глаза, что-то еще не осознанное согрело их сердца.

— Ну, что смотришь? — спросил Саша.

— Меня прислали, — с достоинством ответил Щукин и ушел.

Саше еще хотелось поговорить с ним. О чем? Он и сам не знал — о чем, но говорить было надо.

К обеду, по распоряжению Кравчука, Сашу выпустили из изолятора. Он остановился в сквере под топольком, поджидая идущего навстречу Щукина.

Залитая солнцем, яркая майская зелень покрывала окружающие просторы, манила, звала. Слабое дыхание ветерка несло с лугов тонкие запахи цветения. В близкой дубовой роще за балкой Золотухой торжествующе перекликались птицы. Неугомонный соловей даже в неурочное время не мог удержаться и высвистывал замысловатые рулады.

Саша смотрел на веселое весеннее раздолье, на Щукина, такого щупленького и слабого.

— Эй, Жак Паганель, иди сюда!

— Я не Жак Паганель. Я Тимофей Щукин. Что тебе?

— У тебя отец и мать есть?

— Нет. Померли.

Саша понюхал тополевый листок.

— Так бежать из колонии не будешь?

— Нет, — решительно покачал головой Щукин.

— С тобой Кравчук говорил?

— Говорил, — а что?

— Да так, — вздохнул Саша. — Со мной тоже говорил.

Так началось их сближение.

Вечером Саша пришел в клуб и первый заговорил с активистами. Спрашивал Брызгина, — кем он хочет быть?

— Кем же? Ясно, художником. Семен Васильевич,

руководитель наш, Академию художеств окончил. Хвалит меня. На городскую выставку рисунки мои взял.

— Ты не хвастай, — вмешался Чайка. — А кому Семен Васильевич сказал: «Зазнаешься, перестанешь учиться — ничего не выйдет»?

— А ты кем будешь? — спросил Саша Чайку.

— Хочу композитором. Мне Лидия Власьевна сказала, что я мелодику здо̀рово чувствую. Я танец малых лебедей из балета «Лебединое озеро» без ошибки играю.

— Ты тоже не очень хвастай, — сказал теперь Брызгин. — А кому было сказано: «Учеба, учеба или — ничто»?..

— А я, наверное, великим артистом буду, — смеется Еремин. — Я наизусть почти всю «Полтаву» знаю...— С шутливой важностью он стал в позу и начал:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух...

Все смеются. Чайка, Брызгин и Еремин рады, что Сашу потянуло к ним. Им нравится этот задумчивый парень с ясным прямым взглядом. А Саше грустно. За что он ударил Щукина? Ведь он тоже сирота.

Утром Саша раньше всех вышел на работу. Без привычки работалось трудно. На руках от напильника лопались кровавые мозоли. Кривясь от боли, он с ожесточением нажимал на напильник, стараясь забыться от беспокойных дум и почему-то стыдясь взглянуть комунибудь в глаза. К нему подошел мастер Сергей Львович, похвалил:

— Вот и молодчина! Дело идет хорошо.

Саша даже вздрогнул от неожиданности. Пряча руки, с подозрительностью отшатнулся: не издевается ли мастер? Нет, усмешка и глаза у Сергея Львовича добрые, душевные:

— Человека дело красит. Вижу, стараешься. Не прячь, дружок, руки, не стыдись. Это и у меня поначалу было. Неправильно держишь напильник. Так надо, — и взял напильник, — вот так ладонь клади, вот так держи пальцами. Ничего. У тебя, вижу, дело пойдет хорошо. Потом ловкость появится, почувствуешь себя хозяином

инструмента, машины; сам захочешь придумать что-нибудь новое, чтобы еще лучше было.

Саша слушал его вначале хмуро, потом невольно улыбнулся. Доро́га ему похвала скупого на слова седого мастера. Что ж, такому поверить можно. Он знает все машины, по звуку на ходу улавливает их неисправность; это ему повинуются машины, как хозяину. Многое от него можно перенять. Саша приободрился:

— Мне бы, теперь, Сергей Львович, дело какое-нибудь потруднее.

— Что ж, подумаю, дружок, подумаю.

В обеденный перерыв он пригласил Сашу в свой кабинет и, чтоб не задевать его профессионального самолюбия, не послал его в санчасть, а сам теплой водой вымыл его руки, смазал их какой-то желтой мазью и забинтовал. Растроганный такой заботой, Саша поблагодарил мастера и не сразу ушел. Ему хотелось поговорить с ним. Саша спросил:

— И вы, кажется, одинокий, — безродный, как и я?

— Нет, — ответил он, — мы с тобой не одиноки. У нас много друзей. Только выбирать их надо. Если дружба не помогает человеку развиваться, быть лучше, а тянет назад к дурному, — ее надо бросить.

— Вот мне бы такого друга, как вы! — вздохнул Саша.

— Что ж, давай дружить, — усмехнулся Сергей Львович. — Только я хочу тебе добра и потому буду строг.

— И вы мне расскажете, как делаются машины?

— Постараюсь Будешь хорошо учиться, — сам можешь стать конструктором машин.

Саша пытливо глядит ему в глаза:

— Я вот давно хочу спросить... Можно ли построить тучелов?

— Что-о?

— Ну, это... Машину, которая будет ловить тучи и направлять их туда, куда захочет человек. Поля, к примеру, полить.

— Ну, ты большой фантазер, дружище! — смеется Сергей Львович, радуясь пытливости паренька. — Думаю, что со временем будем мы и тучами управлять!



Саша возвращался в общежитие с новым чувством радости: Сергей Львович назвал его другом, а от него многому путному можно научиться. Такие же друзья-доброжелатели и воспитатель Кравчук, и учительница Лидия Власьевна, и ребята — Брызгин, Чайка, Еремин. Истосковавшись по бескорыстному дружескому слову, он думал теперь об этих людях:

«Они все верят мне, добра хотят, а я, как барсук, уходил, прятался от них!» И уже чувствовал в этой зачинающейся дружбе залог своих успехов, надежную опору и силу.

Но эту радость омрачила встреча с Кленовым. Несколько дней его не видно было. Вероятно, готовился к побегу. Саша не хотел встречаться с ним. Теперь Кленов сам догнал его.

— Эй, Матрос, правда ли, что ты нарушил нашу

дружбу и тайну? — Рябое, в синяках и царапинах, потное лицо его подергивалось, маленькие глазки злобно прищурены, сжатые кулачищи выставлены вперед.

Саша смерил взглядом этого беспутного здоровяка и, чувствуя за собой поддержку товарищей, о которых только что думал, ответил:

— Правда, я и Тимошка Щукин не хотим убегать из колонии, но тайну твою мы не выдадим. Можешь бежать.

— Так знай же, — багровея, сказал Кленов, — я изведу тебя дотла...

— Попробуй! — усмехнулся Саша. — Я и прятаться не буду.

— Ты?

— Да, я!

— Не задавайся, Матрос!

— Я свою силу знаю. Все ребята за меня!

Кленов не знал, что̀ возразить. Увидел Кравчука и ушел, погрозив Саше кулаком.

«Вот и не друзья, а враги, — подумал Саша. — Да он и не был никогда моим другом. Прав мастер: друзей надо уметь выбирать».

Саша не боялся угроз Кленова, хотя тот и способен на всё. Но эта встреча оставила в сердце горький осадок и смутную тревогу.

Кленов стал мстить тщедушному Тимошке Щукину за его отказ от побега. То ударит его при случае, то обругает зло и противно. Потешаясь, раз в клубе облепил его курчавую голову цепкими колючими головками репейника.

Саша вступился за Тимошку.

— Если еще раз хоть пальцем тронешь Тимошку, — худо тебе будет! — сказал он Кленову, грозно прищурив глаза.

— Я тебя в бараний рог скручу! — мрачно усмехнулся тот.

Но из-за спины Саши раздались голоса ребят:

— Посмей только тронуть Сашу! Все заступимся. Дадим жару!

Саша оглянулся. Тут были Еремин, Чайка, Брызгин и другие товарищи. Они стеной выступили вперед против Кленова. Тот заявил, что никого не боится, пригро-

зил расправиться с каждым из них, но попятился назад и, ругаясь, отошел.

Тимошка Щукин отвел Сашу в сторону и, глядя ему в глаза, сказал:

— В огонь за тебя пойду за то, что вступился!

Саша хорошо знал цену этому признанию одинокого паренька.

— Ничего, в обиду тебя не дам, братишка.

Растроганный Щукин схватил Сашу за руку:

— Будешь вроде братишки моего?

— Да, ты будешь моим братишкой названым, — сказал Саша, постигая значительный смысл этих слов.

А Кленов наблюдал за ними издали и всё грозил кулачищем.

★

Вскоре Саша дежурил по корпусу. Закончив осмотр помещений, он вышел, сел у двери на скамеечке. Предзакатное июньское солнце еще заливало светом зеленые луга и леса. Воздух был напоен запахом лугового и огородного цветения. В рощах звенел неугомонный птичий грай. А Саша грустил. Трудно ему было разобраться в противоречиях. Его еще манили путешествия и уже нравилась спокойная, разумная жизнь в колонии.

В последние дни его часто видели где-нибудь в углу перед стопкой книг. С ненасытной жаждой он читал всё новые и новые книги, делал из них выписки и, не в силах оторваться, снова читал.

Он открыл свою тетрадь и прочел:

«Итак, да здравствует упорство! Побеждают только сильные духом. К чорту людей, не умеющих жить полезно, радостно, красиво!»

Подняв голову, он глянул в солнечную даль... «Полезно, радостно, красиво»... И, вспомнив Кленова и своих прежних замызганных спутников бесцельного бродяжничества, с отвращением тряхнул головой, точно стряхивая дурман:

— Довольно! Куда они тянули меня?

— Ты с кем ругаешься? — спросил Кравчук, выйдя из-за угла.

— Сам с собой, — смутился Саша. — Посидите со мной, Трофим Денисович.

Кравчук сел рядом, вытер потный лоб:

— Парит как. Видно, к грозе.

— И до чего ж хорошо, Трофим Денисович! — повеселел Саша. — Чуете запахи? Только я не пойму, что́ пахнет. В огородах ли что цветет или травы на лугах? Раньше и не примечал такого.

— Это хорошо, — взглянув на него, ответил Кравчук, — учись чувствовать и понимать жизнь. Ну, а скажи, — путешествовать тянет?

— Страсть как тянет! — И задумчиво добавил, шевеля палочкой зеленую траву. — Только я учиться сначала буду. Знаю: так труднее, зато верней. А слепым кротом жить неинтересно.

Минуту они взволнованно молчали.

— Так, значит, учиться хочешь? — усмехнулся втайне торжествующий Кравчук. — Да, тебе надо наверстать упущенное, — поотстал. Вот на учебе и проверь себя, есть ли у тебя упорство в достижении цели. Если есть, — человеком будешь.

Саша задумчиво кивнул головой:

— Побеждают только сильные духом.

— А кто это сказал?

— Николай Островский, — живо ответил Саша, и глаза его заблестели. — Хочу, Трофим Денисович, очень хочу быть лучше, только помогите мне, не жалейте, требуйте, чтоб я всё делал как надо. Не я буду, если не добьюсь своего! Верьте совести, добьюсь.

— Помогу тебе быть лучше, — усмехнулся Кравчук. — Но с условием: не криви передо мной душой, говори всю правду. Согласен?

— Согласен, — решительно ответил Саша.

Но уже ближайшие события показали, как трудно выполнять условия воспитателя.

Кравчук решил вывести Сашу на дорогу общественной жизни. По его совету Сашу выбрали председателем санитарной комиссии.

На другой день Кравчук заметил:

— Что ж ты? Председатель санитарной комиссии должен быть примером чистоты и аккуратности, а у тебя и рубаха и тельняшка испачканы.

Саша промолчал, а в обеденный перерыв сам выстирал в пруду рубаху и тельняшку.

Когда шел от пруда, встретил Щукина.

— Тимошка, да ты прямо позоришь меня! А еще братишка названый. Рубаха — как у трубочиста, пуговицы оборваны, на животе — дырка.

— Так я не умею стирать и шить.

— Вот неумелка! Ну, снимай рубаху!

Саша выстирал Тимошке рубаху, пришил пуговицы. Потом пошарил у себя в кармане и вынул завалявшуюся конфетку, которую получил от воспитателя Четвертова и приберегал для Тимошки.

— Ну, бери, что ли! — строго сказал он.

Взволнованный Тимошка вдруг проговорил:

— Знаешь... знаешь, я стащу для тебя на кухне сахару!

— Тогда совсем откажусь от тебя, — помрачнел Саша. — Забыл уговор?

— Ну, не буду. Не сердись. Только ты мне родней всех.

Саша вошел в общежитие веселый, с сознанием хорошо выполненных обязанностей, но увидел там хмурого Кравчука и насторожился. Кравчук тут же сделал ему несколько замечаний:

— На столе и на тумбочках разбросаны разные вещи, а каждая вещь должна быть не брошена, а положена на свое место. Понятно? На полу — клочки бумаги, а под ноги даже на улице ничего бросать нельзя, — ясно? Вчера вечером ты громко стучал сапогами, когда шел мимо спящих товарищей, а надо было пройти на носках, оберегая их покой. Чутким надо быть. Понятно?

Матросов обиделся, сдвинул брови:

— Вы просто придираетесь ко мне. Всё не так. Не угодишь вам!

— Нет, не придираюсь, а требую, потому что добра тебе хочу. Ясно? А ты, видно, еще не хозяин своего слова и пускаешь его на ветер. Сам ведь говорил, что хочешь быть лучше, и просил требовать...

— Ну и буду хозяином своего слова. Буду!

★

Саше хотелось быть лучше, чем он есть. Это желание порой выражалось в неожиданных поступках. Однажды

из-за одного такого его поступка ребята в школе горячо поспорили, и спор этот продолжался с неделю.

Сашу, как хорошего ученика, выбрали классным организатором. Учительница Лидия Власьевна сказала ему:

— Доверие товарищей, доверие Родины — это самая большая награда для человека. Ведь доверяют только честным людям. Оправдай это доверие в любых обстоятельствах.

Саша запомнил слова учительницы.

Вскоре на поверочном испытании по истории древнего мира учительница спросила Тимошку:

— Ну, Щукин, что ты знаешь об ассиро-вавилонской культуре?

Тимошка встал и умоляюще покосился на сидящего рядом Сашу, чтобы тот подсказал. Но Саша смущенно опустил голову.

— Ну, что ты знаешь о культуре Двуречия? — спросила Лидия Власьевна. — Кто ее создатели? Кто такие шумеры? — доброжелательно задавала она явно наводящие вопросы. — Что называется Двуречием? Какая долина между Тигром и Евфратом?

Но Тимошка пыхтел, переступал с ноги на ногу и молчал.

В классе послышался шопот, потом тихий говорок. Кое-кто поднял руку. Саша взглянул на незадачливого друга и поспешно отвернулся, краснея от стыда за него и за себя.

— Ну, от кого и чему научились ассирийцы и вавилоняне? Была ли у них письменность и какая?

Тимошка молчал. Не поднимал головы и Саша, точно ему было так же неприятно и трудно, как и Тимошке.

Лидия Власьевна, заметив необычно унылый вид Матросова, спросила его о фараоне Хеопсе. И Саша неожиданно четко и бойко рассказал о Хеопсе и с особым оживлением стал говорить, как по приказу Хеопса рабы и крестьяне всего Египта строили ему величайшую гробницу-пирамиду, строили тридцать лет, работая стотысячными отрядами, по три месяца каждый отряд, как тысячами строители гибли от изнурительного труда и заразных болезней.

Сашу слушали все очень внимательно, что было при-

знаком успеха. Приободрившись, он позволил себе даже некоторые вольные сравнения вроде того, что, мол, фараоны на костях многих тысяч людей по глупому капризу возводили гигантские бесполезные сооружения, затрачивая несметную человеческую силу, какой хватило бы на строительство сотен Днепрогэсов, на благо всего народа.

Лидия Власьевна остановила его:

— Довольно. Молодец! Хорошо.

И он сел, взволнованный, сияющий. Потом взглянул на Тимошку. Тот, уткнувшись в парту, смахивал слезы. Сразу померкла и Сашина радость. Но горе Тимошки казалось уже совсем безутешным, когда на другой день он узнал, что Лидия Власьевна вывела ему оценку — два, а Саше — пять.

— Почему ты мне тихонько не подсказал? — накинулся он на Сашу. — Теперь я пропал с этой проклятой двойкой. На весь год позор. А еще братишкой называется! По-дружески это — не выручить, когда товарищ погибает? Почему даже писульку не подсунул?

— «Почему, почему», — смущенно насупился Саша, — потому что я и сам не знал.

— Да, ты не знал, но у тебя пятерка. Отличник! А я всё хорошо знал, кроме этой несчастной ассиро-вавилонской культуры, и у меня — двойка. Петля на шее.

Горе дружка так поразило Сашу, что он сутки ходил сам не свой. Много думал и решил, что его собственная удача — случайная и отличную отметку он получил незаслуженно, даже бесчестно, скрыв от всех свое плохое знание предмета; значит, обманул и товарищей и любимую учительницу.

На другой день в классе, на удивление всем ученикам, Саша поднял руку, попросил разрешения говорить и заявил Лидии Власьевне:

— Я не заслужил пятерку по истории древнего мира. Меня спросили о том, что я хорошо знал, а остальное я знал плохо. А Щукин, наоборот, всё знал хорошо, а не знал только того, о чем его спросили. Верьте совести, Лидия Власьевна, это правда. И прошу пересмотреть оценки мою и Щукина.

Лидию Власьевну удивило и растрогало это заявление. Она, правда, вслух пожурила Щукина и Матросова,

что они оба, значит, плохо готовились к испытанию, если получилось такое недоразумение, но стремление одного из них к душевной чистоте порадовало ее.

— Что ж, хорошо, что Матросов честно признал свою недостаточную подготовку и хлопочет за товарища. Так и быть. Я снова спрошу вас обоих.

Во время перемены ребята, озадаченные поведением Саши, сразу обступили его:

— Вот же чудак! Ну чего тебе еще было надо? Получил пятерку и помалкивай. Кто бы знал, что ты не подготовился?

А когда после переэкзаменовки Тимошка получил оценку — три, а Саша — четыре, некоторые ребята стали злорадствовать:

— Достукался? Вот же чудак, сам на рожон полез!

И потом ребята заспорили между собой, — правильно ли поступил Саша. В спор вступили ученики и других классов.

А Саша расхаживал с повеселевшим Тимошкой и чувствовал себя победителем:

— Зато всем хорошо и мне хорошо. А отметку поправлю.

И ребята, как ни спорили о нем, верили: прямой он и верный товарищ, и слово его не разойдется с делом.

Саша и старался быть таким. Почуяв в себе силу, он с помощью Лидии Власьевны, Кравчука и Сергея Львовича наверстывал упущенное время. С завидным упорством он одолевал трудности учебы.

— Трудно, зато интересно, — подмигивал он, блестя озорными глазами, полными молодой задорной силы.

И всё было хорошо, только Кленов, с которым продолжалась глухая вражда, угрожающе, исподлобья косился на Сашу.





Глава IV

ВОЙНА

Щедро пригревало июньское солнце. В синем небе таяли белые облака, отражаясь в зеркале пруда. Ребята сидели под ветвистой ракитой. Обычно они вперегонку бежали к пруду, быстро раздевались и прыгали в воду. Сегодня было так хорошо кругом, что они решили посидеть немного под деревом.

Саша, лежа на спине, нюхал бело-розовый цветок тысячелистника и смотрел на тающие в небе облака.

— Вон орел за тучу залетает, — ткнул пальцем в небо Брызгин. — Это беркут.

— Нет, белохвост, — сощурился Еремин.

— Что вы, — гриф! — поправил Саша и снял тельняшку, чтобы с разгону кинуться в воду.

Он задумчив. В эту весну успешно он окончил шестой класс и переведен в седьмой. В колонии он подрос, окреп. Старается вести себя как взрослый, хотя еще уживаются в нем мальчишечьи повадки. Иной раз хочется Саше побежать вперегонки, побороться с кем-нибудь, промчаться по двору с подскоком. Но всё чаще задумывается он о жизни, и растет у него желание больше знать. Будто всё шире открываются на мир глаза и видят в нем всё больше неведомого, неузнанного.

Радиоволны несли со всех концов страны волнующие вести. По вечерам и заполночь Саша засиживался в клубе, с увлечением просматривал газеты и журналы.

Уже для всех очевидны были сказочные плоды сталинских пятилеток, на глазах преображалась страна.

Советские люди прорывали каналы, орошали пустыни, осушали болота и на обновленной земле собирали небывалые урожаи.

Сашу радует и расширение лимонных и апельсинных рощ в субтропиках, и создание промышленных городов и мичуринских садов в Заполярье. Всемогущий советский человек преобразует природу, раскрывает сокровища земных недр. С гордостью повторяет Саша слова песни: «Посмотри, как цветет, сверкая, вся в сиянье, страна родная». Приятно сознавать, что и он сам по праву входит в великую трудовую семью всесильного народа-преобразователя.

Саша смотрит ввысь и не может понять, куда деваются бесследно тающие там облака. Смотрит и вслух мечтает о новой чудесной машине, с помощью которой человек будет управлять ветрами и тучами.

— Интересно, какой же он будет, тучелов?..

Внезапно ворвался в безмятежную тишину резкий выкрик Брызгина:

— Ребята, война! Молотов по радио говорит.

На секунду все оцепенели: слишком неожиданной была страшная весть в этот солнечный благоухающий день. Потом, позабыв про купанье, они побежали к клубу. Тимошка на бегу снял с головы венок из цветов и отбросил в сторону. Саша бежал впереди. Теперь ни к чему эти тающие белые облака, ни к чему и тучелов. Грозное событие заполнило сознание.

Саша, тяжело дыша, прижался к бревенчатой стене клуба. Сюда, к громкоговорителю, собирались люди. Лица у всех суровы. Безмерен их гнев на врага, бандитски напавшего на мирную цветущую страну.

В самой колонии до этого часа жизнь шла весело, бурно, осмысленно. Эту жизнь радостного труда и волнующих надежд враг оборвал сразу —грубо и нещадно. Страшная опасность угрожала всему самому дорогому и близкому, самой жизни страны и народа.

Там же, прижавшись к бревенчатой стене и тяжело дыша, он слушал третьего июля выступление по радио товарища Сталина.

Солнце пекло в упор прямо в лицо, а Саша, прищурив глаза, стоял недвижно и мысленно повторял слова вождя, падавшие в самую глубину души:

«К вам обращаюсь я, друзья мои», — говорил тихий и такой родной голос. Он, Сталин, звал на борьбу за счастье людей. Его слова были обращены и к нему, Александру, — гражданину великой страны. И его, и всякого, у кого чистое сердце бьется заодно с сердцем народа, Сталин называл другом. Чем же, какими делами, он, Александр, ответит на призыв народного вождя?

Он впервые теперь понял смысл надвигающейся опасности. Да, Сталин прямо сказал, что дело идет о жизни и смерти всех народов Советского Союза, но он тут же выразил непоколебимую уверенность, что враг будет разбит, и указал, как достигнуть победы. Надо только каждому, и ему, Александру Матросову, в том числе, найти свое место в борьбе.

На митинге, после выступления учителей и воспитателей, попросил слова и Саша:

— Товарищи, — сказал он, — война касается нас всех. Вот нас учат, бесплатно дают нам пищу, одежду, жилье. Кто это дает? Она, мать наша — Родина. И мы в обиду ее не дадим. У всех советских людей одна забота, одно дело кровное — побить фашистов. Верно?

— Верно! Правильно! — зашумели ребята.

— Верьте совести, буду работать как могу лучше.

С того часа всё пошло по-иному.

Ребята стали серьезнее. Мебельная фабрика колонии всё больше получала срочных заказов, и воспитанники, поднявшись в шесть часов, работали до позднего вечера. Потом жадно слушали радио, читали и обсуждали написанное в газетах.

В первые дни Саша был задумчив, работал до изнеможения. Как-то он обратился к Кравчуку:

— Трофим Денисович, уважьте мою просьбу.

— Какую?

— Не могу я тут киснуть, когда фашисты к нам лезут... Похлопочите, чтоб меня отпустили на фронт.

— Нет, не похлопочу.

— Почему? Верьте совести, не подведу.

— Если ты здесь киснешь, то на фронте и подавно захнычешь. Понятно? Нашей мастерской дают военные заказы. Работой будем помогать фронту. Вот тут и проверь себя: годишься ли ты на трудные дела?

Да и не возьмут тебя на фронт. Ведь тебе года не вышли.

Колония изготовляла ящики для снарядов, гранат и патронов, учебные винтовки, маскировочные сети. Воспитанники старались перевыполнять норму.

Саше в слесарный цех то и дело несли точить пилы — поперечные, ленточные, ручные ножовки. Он понимал: чем скорее он выправит, наточит этот инструмент, тем скорее пойдет работа в цехах.

Изо дня в день всё больше он перевыполнял нормы выработки — на сто пятьдесят, двести, триста процентов.

Его фамилию записали на доску почета.

— Молодец, Матросов! Орел! — похвалил его Сергей Львович. — Рад за тебя.

— Вам спасибо, Сергей Львович, — у вас учился.

— Родине спасибо, она учит меня и тебя. А почему ты в последнее время стал такой кислый, невеселый?

— Так ведь война.

— Именно потому, что война, и надо нос не вешать, а быть бодрым. Нам всё ясно: за станком — получше работай, в бою — крепче лупи врага. — И подмигнул. — Ведь орел ты, а не чижик, а? — Глаза его сияли: рад успеху ученика. — Надо уметь работать и веселиться.

Саша повеселел: дорога̀ ему похвала и шутка старого, молчаливого и взыскательного, мастера. Хочется работать еще лучше.

Вот он вечером после работы вбегает в клуб, веселый, быстрый, как ветер. Уставшие ребята жмутся по углам.

— Почему тихо? Что приуныли? — говорит он, оглядываясь вокруг. Потом озорно подмигивает. — Орлы вы или чижики? Эй, Виктор, давай баян, начинай песню!

Лица ребят просветлели. Виктор Чайка, скосив глаза, заиграл на баяне, — полыхнула широкая песня, и тесно уже ей в стенах клуба.

К его словам все чаще теперь стали прислушиваться товарищи.

На собрании обсуждался важный вопрос. Осенние дожди размыли дорогу, по которой вывозили обычно изготовленные ящики для снарядов. По глубоким ухабам нельзя было проехать ни на автомашине, ни на телеге.



В мастерской выросла гора ящиков, а вывезти их невозможно.

Саша попросил у начальника слова.

— Дело, товарищи, ясное. Продукция наша нужна для фронта. У меня — предложение: носить ящики на себе до шоссейки, а оттуда — на грузовиках.

Некоторые воспитанники перешепнулись с Кленовым и засмеялись: предложение показалось несбыточным. От фабрики до шоссейной дороги — больше километра. Кленов крикнул:

— Машину и лошадку Сашка заменит!

Саша вообще любил шутки, но теперь брови его сурово сдвинулись, и он, маленький, в стеганом ватнике, весь съежился.

— Да, машина не может, лошадь не может, а мы сможем. На фронте враг лезет. Наши пушки, может,

снарядов ждут, а их нельзя переправить без наших ящиков. Подумали про то? — И злобно взглянул на Кленова: этот лентяй всегда поперек дороги... — А слабосильный Кленов, — продолжал Саша, — пусть отдыхает и сладенькой кашкой питается.

Товарищи шумно засмеялись. Много друзей у Саши, его поддержали. Предложение Матросова приняли, и на другой день после работы на фабрике воспитанники по лужам и рытвинам понесли на плечах ящики к дороге. Впереди всех шагал Саша.

Потом каждая смена относила сделанные за смену ящики, пока не поправили дорогу.

Саша учился у старших, перенимал их сноровку. А ему подражали товарищи. Им нравились его прямота, смелость и ловкость в работе. Люди любят умельцев-смельчаков. Как-то Виктор Чайка о нем сказал:

— На работе он первый и товарищ верный. В обиду слабого не даст и всегда возьмет не силой, так умом и ловкостью.

— Верно! — согласились ребята.

Но Саша, всегда недовольный собой, даже рассердился:

— Будет вам меня расписывать! Противно слушать! Вон сам Виктор Чайка уже делает измерительные инструменты —кронциркули, угольники, нутромеры. Освоил опиловку плоскостей и фигурных поверхностей. Скоро будет настоящим слесарем-лекальщиком. Брызгин хорошо работает по чертежам. А я только и умею, что полегче да попроще. Драчовым напильником и зубилом и то кое-как владею.

И еще тревожило Сашу вызывающее поведение Кленова. Тот не скрывал своего враждебного к нему отношения, всё что-то замышлял, угрожал и мешал во всяком деле.





Глава V

ДРУЖБА

Надвигалась первая военная зима, лютуя вьюгами и морозами. С фронтов доходили грозные вести: гитлеровцы подошли к Москве, блокировали Ленинград, осаждают Севастополь.

Как-то раз Саша пришел к Кравчуку и с обычной доверчивостью и торопливостью забросал его разными вопросами.

Кравчуку всё труднее становилось отвечать на вопросы Саши: их возникало у него всё больше и больше.

Кравчук рылся в книгах, чтобы удовлетворить любознательность своего воспитанника, которую он сам же и пробудил.

Выслушав Сашу, Кравчук грустно усмехнулся:

— Последний разок отвечу тебе, Саша, а потом пусть другие отвечают. Хороший воспитатель Четвертов, он будет...

— А вы куда?

— Сегодня отправляюсь в военкомат. Добровольцем на фронт иду.

Саша задумался. Добровольцем? Да, он так и должен поступить: слово воспитателя не может расходиться с делом. Но как жаль расставаться с этим душевным человеком, который стал роднее отца!

— Возьмите меня с собой, — тихо, но требовательно попросил Саша.

— Нет, не имею права, — ответил Кравчук.

— Но, верьте совести, Трофим Денисович, мне в горло кусок хлеба не лезет. Я спать по ночам не могу,

когда узнаю, что фашисты занимают наши города. Как я ни стараюсь работать, — вижу, что всё равно этого мало. Возьмите с собою, возьмите!

— Нельзя! Понял? — резко сказал Кравчук, дивясь настойчивости своего воспитанника. Кто мог подумать, что у этого с виду беззаботного и веселого паренька таится такое скорбное беспокойство? — Твоя пора еще не пришла. Здесь ты должен заработать аттестат на зрелость. Понятно? Ну, я спешу. — И порывисто обнял его. — Надеюсь на тебя, Сашок. Прощай.

— Прощайте, Трофим Денисович, — голос Саши дрожит. — Верьте совести, стыдно вам за меня не будет. И напоследок скажу еще: если б вы тогда, в изоляторе, не поговорили, не поверили мне, я обязательно убежал бы. Что бы тогда со мной было? Никогда я вас не забуду.

— При чем тут я? — возразил Кравчук. — В нашей стране невозможно человеку пропасть. Это в капиталистических странах такие оборвыши, каким был ты, гибнут, как мухи, или сгнивают в тюрьмах.

Потом Саша из окна долго смотрел на дорогу, по которой ушел Кравчук.

Теперь он всё чаще просил учительницу, Лидию Власьевну, рассказать о героях войны. Та как-то раз необычно пристально посмотрела ему в глаза и посоветовала:

— Делай, Саша, альбом героев войны. Сам их хорошо узнаешь и другим ребятам будешь рассказывать. — И вдруг, всхлипнув, точно ей перехватило дыхание, отвернулась и быстро пошла по двору.

Он удивленно смотрел ей вслед. Обиделась, что ли? Строгой считали ее. Ребята жаловались, что она, будто, всегда занижала им оценки. И скупа была на ласковое слово. «Известно, — нелюдимая», — заключил он. И тут же стал примечать, что Лидия Власьевна, еще не старая женщина, идет и спотыкается, как старушка. Но кого он ни спрашивал, никто толком не знал, что̀ с ней. Говорили, что она стала много работать и даже там, где ее и не просили: помогала грузить снарядные ящики, по ночам что-то шила и вязала для фронтовиков.

Дня через три в школе Лидия Власьевна вела урок русского языка. Саша теперь внимательно смотрел на

нее. Правда, лицо ее осунулось, даже будто почернело, но ничего особенного незаметно. Кто же не похудел во время войны?

Она ходила по классу и диктовала. И только в одном месте, когда прочла: «Мужественный человек не гнется ни перед какой бедой», перед словом «бедой» всхлипнула, как тогда, во дворе. Теперь Саша ясно увидел, как она на миг зажмурилась и крупная слеза, блеснув на лету, упала на раскрытый учебник. Лидия Власьевна быстро его закрыла и, мигая глазами, стала пристально смотреть в окно, хотя за окном ничего и не было.

Саша понимал: Лидия Власьевна превозмогает давящее горло рыдание. Невероятно было, что этот взрослый, с виду суровый, человек перед посторонними роняет слезы. Что же с ней?

Но вот Лидия Власьевна повернулась к ним и как ни в чем не бывало спросила:

— Ну, написали? .. «ни перед какой бедой». — И снова продолжала диктовать попрежнему четко и твердо.

Саша не успокоился, пока не узнал причину странного поведения учительницы. Вечером ему по секрету сказал воспитатель Четвертов, что уже с месяц, как Лидия Власьевна получила с фронта извещение — ее единственный сын погиб в бою.

— Только не любит она разных сетований, соболезнований, — предупредил Четвертов, — потому и не говорит людям о своем горе.

Вечером Саша и его дружки дивились: ну и характер у Лидии Власьевны! Месяц она учила ребят быть бесстрашными и мужественными, а у самой такая беда! И бралась за всякую работу, — значит, чтобы забыться.

Воспитанники уже знали, что Лидия Власьевна получала от своих учеников письма со всех концов страны. Ее бывшие ученики — теперь инженеры, сталевары, врачи, знатные стахановцы, ученые, члены правительства. На всю жизнь запомнили эти люди дорогие черты лица, голос и глаза учительницы, всегда внушавшей им стремление к знанию. Ее ученики уже имеют десятки и сотни своих учеников — строителей новой жизни. Круг их ширится. Тысячекратный урожай дает самоотверженный труд седеющей учительницы, а она, незаметная,

простая и скромная, попрежнему отдает людям всю силу своей души.

— Вот что, — заявил Саша, — надо что-то сделать. Раз она не хочет, мы и прикинемся, будто ничего не знаем, а сами будем делать так, чтоб ей легче жилось. Всем лучше учиться — прежде всего.

И тут же стали предлагать: не сердить ее в классе, помогать отстающим ученикам, не шуметь на уроках.

Со следующего дня уже пошла в классе незаметная для непосвященных упорная работа. Разве что какой-нибудь не в меру шумливый ученик получал иногда от своего же товарища крепкий щелчок, а то во всем был отменный порядок. Теперь уже сама Лидия Власьевна замечала перемену к лучшему и в учебе и в поведении ребят. Она радовалась, ища разгадки. Может, она долго думала бы о том, если бы ей довольно-таки неуклюже не подсунули конверт с деньгами. Тогда она, уже не в силах сдержать волнение, всему классу заявила:

— Милые ребята, я получила из полка, где служил мой сын, сразу шесть денежных аттестатов. И приславшие их товарищи сына просили меня считать их своими сыновьями и рассчитывать на их постоянную помощь... Нет, мне их деньги, как и ваши, не нужны. Пока сама зарабатываю, да и государство помогает... Но какие вы все... — она хотела сказать: «замечательные» — и побоялась перехвалить.

Но воспитанники поняли недосказанные ею слова, и Саша крикнул:

— Мы ваши ученики!

И все почему-то захлопали в ладоши, а Лидия Власьевна смотрела на них блестящими глазами и улыбалась.

С той поры Саша не тревожил Лидию Власьевну расспросами о героях войны, а сам каждую свободную минуту отдавал альбому. Листал газеты и журналы, вырезывал портреты и очерки, подклеивал их. Часто при свете коптилки он сидел над альбомом по ночам, читал, думал о героях.

Ночь. За окном в черной темени воет вьюга. В спальне, кажется, все воспитанники крепко спят. Но если вслушаться, можно отличить еле уловимый шопот. Это

друзья — Брызгин, Еремин, Чайка и Щукин — ждут Сашу. Он всегда скажет что-нибудь новое, интересное. Вот он наощупь пробирается по темной комнате к своей койке. Она рядом с койкой Еремина.

— Мы тебя ждем, братишка, так ждем! — шепчет ему Тимошка.

— Ты сюда, Сашутка, в серединку! — зовет Еремин. — Мы сдвинули койки — ближе будем.

Саша рад, что у него есть такие хорошие друзья. Еремин хоть и плутоват, зато какой затейливый говорун! Никто лучше не расскажет про капитана Немо, Уленшпигеля, матроса Кошку. Саше еще нравилось, что у Еремина победителями всегда были смелые, ловкие, умные люди и высмеивались неуклюжие, лентяи, растяпы. А сколько раз Саша заслушивался, когда Виктор Чайка играл на баяне и пел песни! Тут и Брызгин, заядлый рисовальщик. Хочет стать вторым Репиным! Саша и прозвал его — Нерепин. А в общем дружба неразливная. Он, Саша, рано осиротев, податлив на ласковое душевное слово и льнет к людям, прикидывая, однако, от кого и чему можно поучиться.

Он быстро раздевается и ложится на свою койку.

— Ну, говори!

— Про Игарку слыхали?

— Это девочка? — шепчет Щукин.

— Ну какой ты, Тимоня!.. Это новый город за Полярным кругом, — говорит Саша. — Удивительные места. Вечная, понимаете, мерзлота. Даже летом только на метр земля прогревается. Но и за Полярным кругом уже поспевают яблоки, ягоды... Мичуринцы и там орудуют, — понятно?

— Эх, побывать бы там!

И разговор идет о путешественниках и о путешествиях. Саша говорит о Пржевальском и Козлове.

— А что такое Хара-Хото? — спрашивает Тимошка.

— Мертвый город.

— Расскажи...

И снова:

— А что такое чудесная Лхасса?

— Сердце Тибета.

И, когда ребята говорят о своем желании путешествовать, Саша решительно заявляет:

— Неинтересно блуждать по свету, как бездомная собака. Хорошо путешествовать, как Пржевальский, Козлов: быть участником научной экспедиции. Тут польза и народу и себе.

Потом он говорит, что записал сегодня в свой синий блокнот:

— Понимаете, какие это люди? Сам сидел в каземате в Петропавловской крепости и, может, казни ждал, но писал книгу «Дети солнца»: звал людей к правде, к революции.

— Кто?

— Да Горький. В камере номер шестьдесят. И Чернышевский в той крепости книгу написал: «Что делать?» А Ленин в шалаше писал книгу про то, как советское государство создать, когда кругом шпики искали его. Буржуи, видишь, убить его хотели.

С минуту все молчат. Над крышей, гремя железом, гудит вьюга. От ее напора стонут оконные стекла.

— Ну, Сашутка, говори еще про таких людей...

— Про комсомолку Лизу Чайкину в газете прочитал, — волнуясь, говорит Саша. — Вот девушка! В тылу у немцев ходила по деревням, доклад Сталина о годовщине Октября читала, звала в партизаны. Шестнадцать деревень прошла. А когда попала в лапы эсэсовцев, то, сколько они ее ни мучили, она ничего врагам не сказала.

— Вот это комсомолка настоящая! — говорит Брызгин.

Снова тишина. Только вьюга гудит за окном. Товарищи молчат, думают. Тимошка шумно вздыхает:

— И я ничего не сказал бы фашистам.

Саша говорит Щукину проникновенно и строго:

— Ты, Тимошка, на ветер слова не бросай. Дело серьезное. Дал обещание — выполни.

Он задумался и вдруг оживился, охваченный новым чувством.

— Хлопцы мои, всем трудно теперь, всем нашим людям... А хотите навсегда будем друзьями?

— Ясное дело — хотим, — ответили ребята.

— И держаться один за всех и все за одного, — хотите?

— Хотим!

— И всю правду в глаза резать. Согласны?

— Согласны!

Саша думает, потом медленно продолжает:

— И, если придется, будем такие же смелые, как Лиза, как Гастелло. — И, помолчав немного, торжественно говорит: — Клянетесь?

— Клянемся!

— И жить будем так, чтоб людям легче было оттого, что мы живем. Обещаете?

— Обещаем!

— Ну вот и хорошо! — облегченно вздыхает он, видно, много раз думавший о том, что̀ сейчас произошло. — Теперь нам во всем легче будет.

Дружки взволнованно молчат.

Далеко за полночь Саша спохватывается:

— Да что же это мы? Пора спать.

И когда все уже спят, он слушает ночную тишь. Так хорошо ему, что и спать не хочется. Раньше в бездомном одиночестве истосковался он по ласке и дружескому слову, — теперь он имеет это в избытке. Вот он ощущает рядом своих друзей. Все они — разные, но такие близкие! Пусть спят спокойно. Они на верной дороге.

Тимошка что-то забормотал во сне и раскрылся. Саша тихо поднялся и бережно укрыл его одеялом.

Тихо-тихо, только вьюга гудит за окном.





Глава VI

ЗАКАЛКА

Отбушевала лютая зима. Тихий апрельский вечер несет первые тонкие запахи весны — разбухающих тополевых почек, прелой листвы. Рокочут ручьи.

Саша идет в клуб, жадно вдыхая чистый воздух. Завтра с утра предстоит очень трудная, рискованная работа на тающем льду реки Белой, а сегодня ребята решили повеселиться в клубе. Сашу тянет к людям. С каждым днем крепнут в нем сила и желание что-нибудь делать, узнавать, пробовать. Навстречу идет жизнь ясная, многообещающая. И он берет от нее всё, что хочет, весело, жадно, страстно. В цехе сноровистым рукам его послушна сталь, и он всегда перевыполняет нормы. По вечерам в библиотеке он зачитывается книгами; в клубе участвует в спектаклях, поет в хоровом кружке, занимается физкультурой; душу отвести идет к Витюньчику — гармонисту Чайке.

Вот и в этот вечер, как всегда, вокруг Чайки собираются любители попеть. Александру больше по сердцу песни протяжные, широкие, как степь, как море: «Ой, да ты, калинушка», «Рябина», «Ах ты, степь широкая», «Вниз по Волге-реке».

А когда товарищи поют песни, он всё просит:

— Только без крику! Орать и верблюд умеет. Надо петь так душевно, чтоб сердце замирало. Понятно?

В полночь самодеятельный концерт кончается. Ребята уходят. А Саше хочется еще побыть в клубе одному, еще почитать хоть немного. Он пристраивается у печки и

раскрывает любимую книгу: «Только теперь Павел понял, что быть стойким, когда владеешь сильным телом и юностью, было довольно легко и просто, но устоять теперь, когда жизнь сжимает железным обручем, — дело чести».

К нему подходит Лидия Власьевна:

— Ты что, Матросов? Все ушли спать, — а ты?..

— Дочитываю книгу. Немного осталось. Четвертый раз ее читаю. До чего ж хорошая! Вот это человек!

— Да, книга хорошая. А ты разве не идешь завтра на реку работать?

— Иду. Но я пообещал Еремину сегодня дочитать. Ждет.

Она уходит с довольной материнской улыбкой.

Саша снова склоняется над книгой. Чтобы наверстать упущенное, он жадно читает по ночам. И думается хорошо в ночной тиши. В его библиотечной карточке уже значатся такие прочитанные книги: «Как закалялась сталь», «Рожденные бурей», «В людях», «Мои университеты», «Поэмы Пушкина», «Чапаев», «Хаджи-Мурат», «Тихий Дон», «Дети солнца», «Суворов», «Мать», книги о путешественниках, ученых, исследователях... И чем больше он брал знаний из книг и от людей, тем шире раскрывались глаза на мир, беспредельно разнообразный и манящий. И росла неутолимая жажда знать еще больше. Мечталось о свершении необычайных дел. И очень хотелось, чтоб ощутили, поняли прелесть познания и друзья — Тимошка, Брызгин, Еремин, Чайка и все ребята. И жили б они красивее, дружнее.

Но теперь, в военное время, на фабрике порой было так много работы, что читать и некогда. Саша работал у слесарного верстака упорно и много, часто по две смены подряд. Палимый ненавистью к врагу, Саша трудом своим помогал бить фашистов.

Когда шел из клуба, откуда-то из ночного мрака вдруг появился Кленов.

— Как живешь, отличник? — вызывающе проговорил он, преграждая дорогу. — Учишься всё?

— Учусь, чего и тебе желаю.

— Мне абы каши поболе, а наука ни к чему... Вон ты и учишься, а дурак.

— Чего тебе надо?

— Трусить изволите? Боишься — голову откручу?

— Не посмеешь. Нас много.

— Я один против всех иду. Всем скулы сворочу!

— Руки коротки! — Саша прошел мимо, не оборачиваясь.

Кленов не тронулся с места, лишь погрозил вслед:

— Я тебя всё равно не прощу. Будет мой случай!

Саша не боялся Кленова, но нелепая вражда с ним щемила сердце, как заноза.

Утром команда воспитанников подошла к реке Белой. Огромное красное солнце выкатывалось из-за горы. Была неустойчивая апрельская погода. Днями шумели ручьи, а ночами их сковывал мороз. И теперь в оврагах под ногами скрипел ноздреватый, почерневший снег, но весна чувствовалась во всем. Жемчужно-сизый пушок ракиты весело маячил среди черных стволов клена и вяза. Зеленела озимь, и пробивалась яркая трава на пригорках. Чистый воздух был насыщен тончайшими запахами весны и опьянял, как вино.

— Ух, здорова речища! — раскинул Саша руки, точно желая обнять речную ширь, покрытую льдом, розовеющим в утренних лучах.

— Постой, она тебя уломает! — подмигнул Еремин.

— Захлебнешься ее водицей, — мрачно усмехнулся Кленов.

Лес в плотах, пригнанный осенью для фабрики, успели вытащить из воды. За зиму плоты вмерзли в толщу льда. Не сегодня-завтра полая вода может унести плоты вместе со льдом.

Воспитанники колонии принялись вырубать из льда длинные бревна и вытаскивать на берег. В звенящий лед вонзились ломы, топоры, кирки. Сверкая на солнце, разлетались брызги. Бревна волоком тащили на высокий берег под команду:

— Раз, два-а — взяли! Еще-е — крепче!

Вытаскивать обледенелые, тяжелые бревна было труднее, чем вырубать их изо льда. Работа шла медленно. Пригрело солнце, и стало еще хуже. Валенки мокрые. Ноги скользят.

— Надрываемся, а зря, — угрюмо сказал Кленов.

— Ну да, зря, — согласился Еремин, пошатываясь от усталости. — Всё равно не успеем. Снесет.

— «Зря, зря»! — передразнил Саша, злобно косясь на Кленова. — Закаркали, как худые вороны! Хныкать легче всего.

Он ожесточенно сдвинул на затылок ушанку, рукавом ватника стер пот с лица, потом снял ватник и швырнул на бревна. Расстегнул ворот черной сатиновой рубашки. Разгоряченную грудь подставил ветру. Задумался. Чем облегчить эту, и правда, изматывающую работу?

— А что если нам попробовать накатом? — окинул он всех быстрым взглядом.

— Каким там еще накатом? — рассердился Еремин.

— А скатить его самого в прорубь! — крикнул Кленов, что-то жуя. — Блоха в командиры лезет.

Саше так противен был этот бездумный верзила, что он даже не взглянул на него. Он обратился к Еремину, говорил сдержанно, а глаза властные, пронзительные:

— Не шуми, Еремка! Попытка — не пытка. Всем лучшего хочу. Понятно?

Еремин вспомнил ночь дружеских признаний, клятвенных обещаний и вздохнул:

— Да я не против работы, — но как лучше?

Ребята заинтересовались предложением Саши. Подошел и воспитатель Четвертов.

— Как накатом?

Это было совсем просто. Положить параллельно гладкие бревна и по ним катать. Двое сверху за веревки тянут, двое с кольями подталкивают и поддерживают бревно. Попробовали. И, на удивление, дело пошло быстро. Чайка задорно свистнул:

— Да таким манером раз в десять быстрей!

— И как раньше не додумались?

— Всякий додумается, — усмехнулся Саша. — Пустяк дело.

В следующую ночь мороза не было. На льду появились лужи. Вода покрыла лед вдоль берега. Целый день и дотемна воспитанники колонии работали безропотно. На третий день работать было еще труднее. Под водой лед был очень скользкий, ноги не слушались; всюду хлюпала вода и заливала с трудом вырубленные из льда бревна, замерзшие в нижних слоях. А вода всё

прибывала. По оврагам и ерикам в реку с шумом бежали мутные ручьи.

В полдень Еремин споткнулся, упал и выругался:

— Это му́ка, а не работа!

— Бросать ее! — сразу подхватил Кленов. — Кончен бал!

Ребята перестали работать. Саша взглянул на Еремина, стоящего в воде на четвереньках, не выдержал и, закрыв рот варежкой, прыснул со смеху. Но сразу же стал суров:

— Хлопцы, что приуныли? Орлы вы или чижики? А на фронте, думаете, легче? Ведь дорога́ каждая минута. А ну, товарищи, давай, давай! — И подложил шест под бревно.

Ребята снова заторопились, покачиваясь от усталости. Уже багровое солнце близилось к закату. Лед стонал, потрескивал. Но вот вся его масса вздрогнула и чуть заметно двинулась.

Кленов поскользнулся, взмахнул руками, упал в полынью и сразу скрылся под водой. Потрясенные такой неожиданностью, ребята на секунду оцепенели.

— Утонул! — крикнул кто-то.

— Веревку ему! Где веревка? — забегал Виктор Чайка.

Но вот вода в полынье всплеснулась. Показалась голова Кленова без шапки, мокрые волосы, до половины закрывающие лицо, широко открытый рот. Кленов руками вцепился было в кромку льда, ртом хватил воздух, раз, другой. Но товарищи не успели еще помочь ему, как руки его соскользнули, и он опять скрылся под водой. Снова всплеснулась вода, — показалась голова. Видно, Кленов цеплялся за жизнь упрямо, настойчиво.

— Давайте багры! Багры! — кричат кругом.

— Веревку! Шесты!

— Затянуло опять. Тут быстрина!

Люди бегали, впопыхах искали и не находили то, что надо. И все вдруг увидели: Саша бросил поперек полыньи доску и сам склонился над полыньей. И еще через секунду он поймал в воде руку Кленова и молча силился подтащить ее к доске.

— Кленов и Сашку затянет под лед! — крикнул Щукин с ужасом в глазах.

— Да держите ж его!

Саша и сам побелел, как полотенце: долго ли соскользнуть под лед? Он клещом вцепился в доску, уперся о льдину и тащил барахтающегося Кленова. Тот захлебывался, ловил ртом воздух и, видно, уже мало соображал.

До этого случая Саше противен был этот постоянно жующий парень, самодовольный пустобрех и невежда, будто бы и созданный только для того, чтобы жевать и делать людям пакости. Но Саша даже не успел подумать обо всем этом, когда кинулся, рискуя собственной жизнью, спасать тонущего человека. Теперь было самым главным не дать ему скрыться в ледяной полынье.

Но вот Кленов, наконец, обеими руками схватился за доску, отчаянно выпучил глаза на Сашу, который держал теперь его под руку. Еще никогда их взгляды не встречались так близко. Теперь в налитых кровью глазах Кленова — только мольба и ужас. Его уже тащили со всех сторон — за руки, за одежду, кто-то заарканил его под руки веревкой, кто-то «подваживал» шестом. И как только вытащили его на пригорок, он, совсем обессиленный, сразу растянулся пластом, хотя и пробыл в полынье всего минуты три. Ребята быстро переодели его в свою сухую одежду. Он очнулся, сел, его затрясло.

— Дрожит! — обрадовался Еремин. — Значит, всё в порядке.

— Бегай, Кленов, бегай, грейся!

— Домой сам идти сможешь? — спросил его воспитатель Четвертов. — Или вести?

Но Кленов молча по-бычьи косился по сторонам и, увидев Сашу, тяжело встал. Тот уже стоял с шестом в стороне, готовый к работе. Кленов, шатаясь, как пьяный, и смешной в чужой короткой и узкой одежде, подошел к Саше, молча протянул окостенелую, согнутую в крюк руку. Саша, не понимая, в чем дело, отступил. Тогда Кленов прохрипел:

— Дай руку!

Саша важно пожал его ледяные растопыренные пальцы. Потом, видно застыдившись своей важности, усмехнулся и повел быстрыми озорными глазами:

— Ну, хлопцы, сеанс окончен. Даешь работу! А то вон солнце уже садится.

— Какая там теперь работа! — снова зашумелн воспитанники.

— Ясно — бросать! А то н мы, как Клеиов, под лёд.

— Щук кормить!

— Там еще часа на три работы, — прнмиряющим тоном сказал Чайка. — Совсем угробят нас этн бревна.

— И верно, — согласнлся Саша, — за три часа угробят.

— Значнт, всё, — обрадовались ребята, — бросаем!

— За три часа — ясно, угробят, — продолжал Саша. — А хлопцев жалко. Я предлагаю ие мучнться еще целых три часа...

— Верно! — зашумели ребята.

— ... предлагаю вытащнть, — продолжал Саша, — эти проклятые бревна за полчаса.

— Сбиваешь с толку! Хитрый!

Все понимали: работать дальше опасно, и уже темнеет, — значнт, будет еще опаснее. А лед держнт еще ие менее трндцати кубометров ценного леса.

Саша посмотрел на Четвертова. Тот, видно, тоже колебался: не прекратить лн работу? А Еремнн и Брызгнн уже сиделн на прнгорке и, сняв валенки, вылнвали из них воду, тихо ругаясь.

— Я так думаю, Семен Борнсовнч, — сказал Саша, — правда, опасно работать, и ногн горят в ледяной воде. Только еслн мы сейчас не выгрузнм лес, его ночью унесет со льдом. Верно? А сколько ж из этого леса выйдет ящнков для боепрнпасов? А? Семен Борисович, разрешнте продолжать, пока не совсем стемнело. — И повернулся к ребятам: — Чайка, Брызгин, Тимошка, — дружба моя, пошлн!

Он первый взошел на лед. У берега уже было воды по колено. Саша поскользнулся, н ледяная вода обожгла живот. Он быстро поднялся. Усталость валила с ног. Непонятная сила потянула было его обратно, к берегу, но он шагнул от берега, злобно ворча:

— Я тебя заставлю! Бойцам под огнем куда страшней.

За ним пошлн трое и снова прннялись за работу. Туда же, качаясь, пошел и Кленов.

— Куда ты? — зашумелн на него. — Тебе надо скорей согреться. Бегн домой!



— Нна... рработе... согреюсь... — ответил он, цокая зубами.

Потом на помощь им поодиночке стали подходить и другие.

Не вытерпел и Еремин и кивнул на Сашу:

— Ребята, да что он, букашка, нам нос утирает? А мы что — хуже? Пошли и мы утопать!..

Саша засмеялся:

— Утопать, говоришь, Еремка? Тонуть не стоит... Шагай, шагай живей сюда! Ну-ка, ломиком под это бревно. — Теперь он уже хозяйничал, веселый, шутливый. — Давай, ребята, вагу под концы! Так. Разо-ом! Взяли! Крепче-е — дружно! Эй, орлы, подтяни животики, штурмуй эту коряжину!

Его слушались даже здоровяки. Воспитанники незаметно посмеивались, когда Кленов, который на две головы выше Саши, теперь быстро поворачивался, выполняя его команду:

— Муха слоном командует.

А Кленов, не слушая разговора, брал в охапку и таскал десятипудовые бревна.

Ребята шутили, но чувствовали душевную силу Саши.

Уже полная луна выглянула из-за деревьев, когда воспитанники, барахтаясь в воде, тащили на берег последнее бревно. Потом они, дрожа, выжали воду из портянок.

— Теперь бегом домой сушиться! — смеется довольный Саша, потирая руки.





Глава VII

ЛИНА

Летом в колонию прибыли дети из блокадного Ленинграда. Пока они проходили карантин, их держали изолированно, в особом корпусе.

В колонии нехватало воспитателей, — Матросова назначили помощником воспитателя к ленинградским детям.

— Нашли ж кого назначить! — с отчаянием пожаловался он Четвертову, которому теперь, после ухода Кравчука на фронт, старался во всем подражать. — Сам я еще на все ноги хромаю и боюсь, не свихнуться бы.

— Ничего, не свихнешься. Поработай с ними, — так надо.

— Надо, надо, а не хочется.

Он пришел к новым колонистам злой, сразу же нашел у девочек непорядки и накричал на них:

— Почему одежда на кроватях разбросана? Почему на полу мусор? Почему не причесаны?

К нему подошла светловолосая девушка в белом халате, строго сказала:

— Не кричите на них. Они из самого пекла. Обещаю, мы наведем порядок. — И чуть насмешливо повела большими ясными глазами. — Такой молодой начальник, а сердитый!

— Я пришел не сказки рассказывать. Понятно?

Она опустила ресницы и смолчала.

Воспитатель Четвертов, узнав, как неприязненно Александр говорил с девушкой, строго спросил его:

— Зачем ты грубил ей?

— А что с этой девчонкой — нежности разводить?

Четвертов, как всегда тихо, но строго сказал:

— Запомни: этих детей города-героя мы должны окружить заботой и лаской. Ясно?

Через час Александр опять пришел к детям. Девушка встретила его на крыльце и, чуть улыбнувшись, сказала:

— Теперь смотрите, — у нас полный порядок.

Подбежали ребятишки, окружили их.

— Вы кто тут? — спросил он девушку.

Дети весело зашумели, прижимаясь к ней:

— Это наша сестричка!

— Мама наша! Из Ленинграда нас вывезла.

— Сколько же этой маме лет? — спросил он. — И как ее зовут?

— Шестнадцать, — улыбнулась девушка. — Приехала с этими ребятами. А теперь в санчасти. Я там и санитарка и медсестра. Словом, всё делаю. А звать меня Лина.

— Лина? — переспросил он. — Значит, я о вас слышал.

Это о ней говорили воспитатели: «Если бы не было с ленинградскими ребятами старшей из девочек — Лины, половина их, может, и не доехала бы до Уфы». Она в дороге ухаживала за детишками, была медсестрой, поварихой, постирушкой и швеей, добывала продукты. «Только почему ее называют девочкой? — подумал Саша. — Она уже почти взрослая»...

— Что так смотрите? — спросила Лина, слегка прищурив глаза, и детски простодушное выражение их сделалось насмешливым. Потом нахмурилась.

— А ну, ребята, марш по местам! Каждому стать у своей койки! Смотр сейчас будет.

Ребята разбежались.

— Вот и родня вся, эти мои братишки и сестренки, — вздохнула она. — Знали бы вы, что они терпели в Ленинграде под бомбежками и обстрелами, вы бы на них не кричали. Родители их погибли, кто на заводе у станка, кто на рытье окопов. — Она вдруг отвернулась, видно, вспомнив что-то тяжелое. Помолчав, продолжала:— У немногих из этих детей родители живые, да и те

на фронте. — И опять улыбнулась; блеснули ее влажные глаза: — Так-то, Сашенька, надо быть чутким.

«Сашенька?» — взволновался он от неожиданности. Ему странным казалось, когда она говорила ему «вы», а теперь он не знал, возмущаться ли ее фамильярностью или благодарить за такое ласковое слово. Он стал пристально разглядывать ее. Льняные волосы, просвеченные и озолоченные солнцем, струясь на ветру, падали на плечи. Лицо еще бледное и худое после блокадной ленинградской зимы, синие смелые глаза. Белизной сверкал на солнце ее халат, перехваченный пояском на тонкой талии.

Задумавшись и глядя куда-то вдаль, она стояла теперь перед ним серьезная, не по возрасту озабоченная.

«Вот она какая! — подумал Саша. — Вот бы с кем дружить мне! Она много видела, много знает». — И робко спросил, не надо ли ей чего для ребят.

— Спасибо, не надо, — не оборачиваясь, ответила она.

Несколько дней он избегал с Линой встречаться, хотя ему и хотелось скорее поговорить с ней запросто, по-дружески.

На четвертый день, выходя из столовой, Саша встретился с ней лицом к лицу. Она молча кивнула ему, здороваясь, и прошла мимо, прямая и гордая. Он готов был броситься за ней, но сдержался. Вдруг она окликнула:

— Саша, почему вы не заходите к нам?

— Не надо, потому и не захожу.

— Чего вы сердитесь?

— Я не сержусь, но некогда, — замялся он. — Иногда всю ночь до рассвета приходится работать.

Лина улыбнулась и продекламировала:

Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.

— Без намеков, пожалуйста, — обиделся Саша. — Я и так могу сменить разговор, даже уйти.

— Всё понятно. Если не знаешь, так лучше убежать, — задорно сказала Лина.

— Чего не знаю? — не понял он.

— А вот чьи эти стихи? Из какого произведения?

Саша, и верно, не знал, и это его раздражало.

— Некогда мне тут балагурить! — с достоинством сказал он и зашагал неторопливо и широко, чтоб казаться повзрослее.

Весь вечер он рылся в книгах, ища стихи, прочитанные Линой.

На другой день он нашел их и хотел сразу же бежать к ней, но сдержался. Она первая заговорила с ним, случайно встретясь во дворе:

— Саша, говорят, вы хорошо поете в хоре?

— А ты... вы... поете?

— Плохо. А почему спрашиваете?

— Так. Думаю, что нельзя любить человека, который не поет и не любит песен.

— А если голоса нет?

— Всё равно. Хороший человек хоть по-вороньи да поет.

— По-вороньи? — засмеялась она. — Лучше совсем не петь.

Он предложил:

— Приходите сегодня вечером в клуб. Петь будем.

— Хорошо, приду.

Но ему показалось, что она согласилась нехотя. Он повторил:

— Обязательно приходите, Лина.

Вечером он упрашивал гармониста Чайку:

— Витюньчик, браток, ты сегодня играй так хорошо, как никогда еще не играл. Понял?

— Нет, не понял.

— Ну, чудак, а еще друг. Я объявил ребятам, что петь будем. Так петь, чтоб аж до неба песня летела.

Когда она пришла в клуб, ему показалось, что там сразу стало светлее и торжественнее. И хотелось, чтоб при ней никто дурного слова не сказал и чтоб все вели себя хорошо, точно она о нем будет судить по поступкам его товарищей.

— Давай любимую! — весело крикнул он баянисту Чайке.

Чайка тряхнул выгоревшим на солнце белым вихром и заиграл. Александр, точно поднимаясь на облаках, с замиранием сердца запел:

Что затуманилась, зоренька ясная,
Пала на землю росой?
Что пригорюнилась, девица красная,
Очи блеснули слезой?

Лицо его то хмурилось, то озарялось. Он выпрямился. Первое смущение прошло. Голос становился певучее и увереннее.

Ночь начинается, фонари качаются,
Филин ударил крылом.
Налейте мне чару, налейте глубокую
Пенистым красным вином...

Но вот замер голос певца. Стих баян. А ребята всё еще молчат и смотрят на Сашу. Он смутился, не зная, куда себя деть. Потом засмеялся:

— Почему тихо? Да что вы все приуныли? А ну, грянем партизанскую! — И первый затянул:

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед...

Пели и про калину, и про степь широкую, и про рябину. Александр стеснялся на людях подойти к Лине, но старался, чтобы пели стройно и ей было хорошо и радостно с ними.

Потом он показал сделанный им альбом героев войны:

— Вот это настоящие люди! И сколько их! Ведь они простые, как все мы, а какие храбрые! Вот смотрю на Тимоню. Как воробей, маленький и чудной. И, может, завтра он-то и будет героем, братишка мой. А?

— Учитель наш, помню, сказал: «Великие всегда простые»...

— Вот правда... Ли-на, — с расстановкой произнес он ее имя. — Верно он говорил!

Он смотрит на ее щеки со следами морозных ожогов, на голубую жилку под золотистым пушком на левом виске, и в ясном взгляде его — уважение и нежность к этой заботливой и смелой девушке.

— Ну, я пойду, — вдруг заторопилась Лина. — Уже поздно. Спокойной ночи!

Дома он долго не мог уснуть, согретый большим и радостным чувством зародившейся дружбы.

В обеденный перерыв Саша прибежал в общежитие, заправил свою койку и койки товарищей, подмел пол, поправил занавески. Надел чистую тельняшку и тщательно заправил ее в брюки, чтоб спереди не было ни одной складки. Проходя сквер, он подобрал клочки бумаги, расправил кем-то примятые на клумбе цветы. Ему хотелось, чтоб всюду было чисто и празднично.

После обеда, выйдя из столовой, он встретил Лину.

— Понравилось тебе вечером в клубе? — спросил Саша.

— Да, очень, — тихо ответила она.

— И мне было очень, очень хорошо...

Лина улыбнулась.

Потом они побежали к пруду. Саша обогнал Лину и остановился у самой воды под старой ракитой, поджидая девушку. Он видел, как она спускалась по зеленому пригорку, светловолосая, в белоснежном халате, вся освещенная солнцем. Такой ослепительно чистой он и запомнил ее до конца дней.

— День-то, день сегодня какой!

— Да, да... Как хорошо тут!

Взявшись за руки, они молча стоят рядом. Еле заметно плывут отраженные в зеркале пруда высокие редкие белые облака. С высокого холма открывается огромный, необозримый простор. В прозрачной дымке зеленеют леса, между ними, извиваясь, сверкают реки Белая и Уфимка. На лугах волнообразно струится серебристый ковыль. Легкий ветер несет оттуда запахи медоносных трав; точно застыли в дреме высокие взгорья и овраги, поросшие вязом, дубом. Вдали под сивой шапкой от паровозного дыма и пара — станция Дёма. Широкую реку Белую перепоясал, будто синей ажурной мережкой, железнодорожный мост. А ближе — переправа через реку на Цыганскую поляну, окруженную дубами-великанами. Там летом, в башкирские праздники сабан-туя, веселые, шумные гулянья. Да ему всё здесь любо — и близость Лины, и травы, и пруд, и ракиты, и белое облако на горизонте, и этот смешной желтоголовый и длинноногий одуванчик; и столько вокруг прекрасного, что он дивился, как раньше этого не замечал, точно сегодня только

мир преобразился для него. И он не может сдержать полноту чувств:

— Как хорошо!

— Что ты? — удивил ее необычайный блеск его глаз.

— Смотри, Линуся, тут кругом исторические места. Пугачев тут воевал. А вон там за поворотом реки Чапаев высаживал десант. А там шли на Урал первые рудокопы.

Волнуясь, он говорит о сказочных сокровищах, какие открывает земля советскому человеку.

— А там — Россия-мать. Страсть как хочу скорей попасть в Москву, посмотреть Кремль, мавзолей, Третьяковскую галлерею!

— А у нас в Ленинграде — Русский музей, Эрмитаж... Хочешь в Ленинград?

— Хочу... Я знаю, Линуся, чьи стихи про белые ночи: «Одна заря сменить другую спешит»...

— Постой, не надо, — вдруг сказала она, мучительно сдвинув брови.

— Что? — испугался он.

— Так... В Ленинграде погибли мои отец и мать.

Она рассказала о том, как фашисты каждый день обстреливали город. Но гнев ленинградских рабочих был так велик, что они, усталые, истощенные, работали по нескольку смен подряд. А когда не было электроэнергии, вручную приводили в движение станки и работали для фронта.

Четыре раза снаряды пробивали каменные стены цеха, где работал отец Лины, разбивали железобетон, кромсали металл, а отец всё работал... Вначале, когда остановились трамваи, отец ходил пешком с Петроградской стороны, где они жили, до завода «Большевик» — километров пятнадцать. Потом он приходил домой всё реже и реже. И раз утром его нашли в обледенелом цехе у токарного станка уже замерзшим.

Мать работала на строительстве оборонительных укреплений и тоже пешком ходила рыть окопы, строить дзоты за Невской и Нарвской заставами. А в январе сорок второго года однажды принесли Лине одежду, зарплату матери, паек и сказали, что на Средней Рогатке мать убита осколком снаряда и уже похоронена. Потом

ее, Лину, завод взял в свой диспансер, где она и была до эвакуации.

Александр слушал Лину и раскаивался, что раньше грубил ей.

— Почему ж ты мне до сих пор об этом не сказала?

— Зачем? Хныкать и всюду говорить о своем горе — это плохо.

— Твои родители — настоящие герои! И ты мне теперь еще родней...

— Правда? — улыбнулась она, и влажные глаза ее заблестели. — Значит, мы друзья?

— Навсегда-навсегда!

— Вот и хорошо, — вздохнула Лина и, помолчав, спросила:

— А кем ты хочешь быть?

— Кем? — смутился он. — Да я хочу быть инженером-механиком. Хорошо бы и астрономом. И ботаником тоже неплохо.

— Хватит! — смеется она. — Думала, ты серьезнее.

— Нет, ты не смейся, слушай... Астроном, понимаешь, знает, что от звезды Сириус до нас свет долетает только через девять лет, а от иных звезд только через миллионы лет. Знает даже температуру, состав и вес звезд. Хорошо быть астрономом!

— А инженером-механиком?

— Да не только механиком, а и оптиком и электриком... Они строят все машины и приборы. А мне еще хотелось бы построить такую машину, чтоб управляла тучами и бурями.

— Ого, какой! Скажешь, и архитектором хорошо?

— А как же! Ведь он строит красивейшие дома, дворцы, целые города...

— Ты, может, еще хотел бы и художником?

— Брызгин будет художником. А композитором — Виктор Чайка. Верю в них. А я тоже люблю и музыку, и живопись, и книги. Всё люблю. Всё, всё! Да ты не смейся. Теперь кем захочу, тем и буду. А Циолковский, Мичурин, Лысенко, думаешь, из каких вышли? Только учиться надо. Знаю: учиться трудно, — но до чего ж интересно! Каждый час перед тобой открывается что-нибудь новое и новое, да такое хорошее — дух захватывает. И я обещаю тебе — учиться буду много-много.

Он чувствует в себе столько силы, что ее хватит на одоление самой трудной учебы. Он теперь окружен друзьями. Его имя — среди лучших производственников — на доске почета. К его голосу прислушиваются на собраниях и совещаниях. Но мало кто может понять, какой трудной работой над собой достиг он всего этого.

Лина смотрит на него испытующе и ласково:

— А где ты был до колонии?

Он сразу померк:

— Не спрашивай, после скажу.

— Почему не сегодня?

— Сегодня у меня праздник. Особенный день. Понимаешь?

— А вечер вчера?

— И вечер был особенный.

Он смотрит ей в глаза и хочет еще сказать, что она ему родная, как сестра, как мать. Но произносит только одно слово:

— Линуся...

Потом вдруг, смутившись, по-мальчишески хлопает себя руками по бедрам.

— Ну, и чудак я, честное слово, чудак! Заговорился. А ведь мне надо срочно в сушилку, паровые трубы осмотреть. Ну, — до вечера, Линусенька. — И помчался.

Она глубоко вздохнула, глядя ему вслед.

— Какой странный и... и хороший.





Глава VIII

РОДИНА ЗОВЕТ

Вот и сбылась беспокойная, страстная мечта. Родина зовет и его в бой. Что ж, постоять грудью за мать-Родину — выше этого и чести нет.

Саша и Лина стоят у пруда в последние минуты перед отъездом в военкомат. Зябкий сентябрьский ветерок рябит свинцовую гладь студеной воды. В небе — тревожный крик запоздалых перелетных птиц. Кружась на ветру, летят пожелтевшие листья тополя и ракиты.

Александр всё поправляет поясной ремень, туго затягивающий в талии черную шинель с блестящими белыми пуговицами. Стройный, по-военному подтянут. Лина с грустной улыбкой смотрит на него. Вот и конец их встречам и песням.

Сдерживая слезы, она дает ему свою фотографию и говорит:

— Возьми и помни обо мне.

Саша вынул записную книжку, бережно положил туда фотокарточку и вчетверо сложенный лист бумаги.

— А это что? — спросила Лина.

— Характеристика. Описали меня тут — спасу нет. — И он протянул Лине бумажку.

Она прочла вслух:

— «Матросов, Александр Матвеевич, 1924 года рождения, уроженец города Днепропетровска, происходит из семьи рабочего, образование семь групп, русский. В Уфимской детской трудовой колонии зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Работал на мебельной фабрике в качестве слесаря стахановскими

методами. За хорошую работу на производстве, отличную учебу в школе и поведение Матросов А. М. с пятнадцатого марта по двадцать третье сентября 1942 года был в должности помощника воспитателя. Кроме этого, был избран председателем центральной конфликтной комиссии. Активная работа в учебно-воспитательной части и личное желание Матросова окончательно подготовили его к самостоятельной жизни. Товарищ Матросов выдержан, дисциплинирован, умеет правильно строить товарищеские взаимоотношения. Характеристика дана для представления в РККА».

— Вот какой ты у нас! — ласково и печально сказала Лина.

— Ну, сама понимаешь, перехватили через край.

— Да, они тебя, видно, не очень хорошо знают. Хоть и правду написали, но этого мало...

— Хватит, Лина, а то поссоримся на прощанье. Эх, жаль, что я мало учился и мало знаю! Один великий человек сказал, что и двадцатилетний человек может принести народу такую пользу, что его не забудут вовек, а можно, понимаешь, и сто лет прожить без пользы, как гнилушка... Здо́рово сказано, а? И я мог бы уже среднюю школу окончить, в армии был бы полезней, а после армии — сразу в институт или в университет. А я что делал? Вот теперь волосы рвал бы на себе, да поздно.

Он умолк. О чем бы еще самом нужном не позабыть сказать? Но чувств и мыслей так много, что трудно выбрать из них главные. А секунды текут, и волнение растет.

Белые облака, прозрачные и чистые, будто клочья смятой марли, быстро плывут на юг, чуть прикрывая солнце. Тихо шумят, качаясь, длинные, свисающие к воде полуоголенные ветки ракиты. Но вот шум ракиты заглушает нарастающий рокот автомобиля. Александр и Лина переглянулись и пошли к машине. Их окружили товарищи, пришедшие проститься. Вот они, испытанные друзья: Чайка, Брызгин, Еремин, братишка Тимоня и другие. С грустным, озабоченным лицом воспитатель Четвертов еще издали смотрит на ноги Александра.

— Ну, яловые все-таки сапоги взял? — говорит он. — То-то, а то хотел франтить в хромовых! На войну, брат, — не на бал.

Четвертов в последние дни отечески заботился о снаряжении новобранца. Были заказаны сапоги хромовые. Четвертов запротестовал: яловые на фронте куда удобнее хромовых.

— Я вас послушался, Семен Борисович.

Александра обступили товарищи. Он не думал раньше, что у него так много друзей. Здесь, в колонии, он обрел их. Вместе с ними учился, работал, мечтал о большой и хорошей жизни. А сколько светлых минут пережито здесь! Да, это он хотел когда-то бежать отсюда и думал, что никакие цепи его тут не удержат. А вот разумное, душевное, человечное слово оказалось крепче цепей и удержало его. И трудно теперь отвернуться от этих родных лиц. Но перед ним уже открывалась новая дорога. Спасибо, спасибо всем, кто пестовал его душу и по зернышку вкладывал в нее свой опыт, свои знания, свою любовь к человеку! Всё доброе он унесет с собой, сбережет, умножит.

— Вот, Саша, и сбылось твое желание, — говорит Виктор Чайка. — Всё рвался на фронт, вот и дождался. А нам что ж? Как там в песне поется: «Ты прости-прощай, зоренька ясная» ...

Александр волнуется и решительно обрывает минуту горького расставанья:

— Ну, друзья, до свиданья!

Порывисто обнял первым Тимошку:

— Хорошо учись, братишка. Да альбом героев не забудь, пополняй. — Он поднял голову. — Вам, друзья, я обещаю защищать Родину, как положено, не жалея сил и жизни. Дружбы нашей не посрамлю, и стыдно вам за меня не будет.

Тимошка замигал глазами. Он хочет казаться большим, улыбается, а по щеке катится слеза.

Александр обнял всех по очереди. Потом вскочил в машину. Машина рванула вперед и понеслась к городу.

★

В недалекий городок он ехал с радостью. Его назначили в пехотное училище: быть ему офицером. Раньше об этом даже мечтать не смел. Правда, из-за училища он не сразу попадет на фронт, зато обученный — он там будет полезнее.

В училище он с волнением надевает военную форму. Суконная гимнастерка, синее диагоналевое полугалифе, сапоги, шинель, шапка — всё новенькое и еще пахнет нафталином.

— В этой форме даже и в Москве щегольнуть не стыдно, а? — шутит он.

Александр Воронов охорашивается, как балерина:

— Верно говоришь, тезка!

С Вороновым он познакомился в поезде. Вначале этот высокий и стройный весельчак и говорун с чуть раскосыми насмешливыми черными глазами не понравился Матросову. Саша считал, что все красивые и развязные люди — глуповаты. Потом оказалось, что Воронов не развязен, а просто парень с избытком веселости. Воронов окончил десятилетку, был начитан. Он серьезно толковал о музыке, живописи, истории и даже философии, заставляя Матросова завистливо прислушиваться. И тоже, как и он сам, горячо любил песни... Матросов всё чаще заговаривал с ним.

Однажды во время чаепития Саша запросто поднял жестяную кружку с чаем:

— Ну, веселый философ, пьем за нашу дружбу, а?

Воронов охотно чокнулся задребезжавшей посудиной.

Потом Саша подружился еще с Макеевым и Дарбадаевым. Александр Макеев — хмур, ворчлив, тщедушен и мало привлекателен, но дружбу ценил выше всего, за что Матросов и мирился с его строптивым характером. Башкир Михаил Дарбадаев — плечист, высок, подвижен, и глаза у него смелые и быстрые, как у его земляка Салавата Юлаева, на которого он хотел быть похожим. Большие жилистые руки этого недавнего комбайнера, казалось, всюду искали работы. Эти новые друзья — разные люди, но в каждом из них что-нибудь нравилось Матросову. Он старался в каждом человеке приметить что-нибудь хорошее. Щедро сердце на дружбу в юную пору, когда оно переполнено горячими чувствами и жизнь только начинает открываться, а цель у друзей — одна и дорога общая. Он вообще не мог жить без друзей. Но каждого нового человека он разглядывал пытливо: а ну, каков он? Чем может быть полезен, на что способен, что из него может выйти?

— Вот и есть три Сашки и один Мишка, — шутил Матросов, довольно потирая руки. — Везет мне на друзей! В колонии много их осталось, а тут уже двух тезок и Мишку подкинуло.

— Сам виноват, — смеялся Дарбадаев. — Совсем свойский парень.

Но дружба их вскоре подверглась испытанию.

Друзей назначили в стрелковую роту.

Матросов, получив автомат, сразу разобрал его до последней детали. Макеев насмешливо изумился такой дерзости.

— Больно прыткий ты. Оно, скажем, разобрать-то всякий умеет. А соберет — дядя?

— Сам соберу! — сказал Матросов и весело подмигнул. — Ну, братки, и машинка же! Эта не подведет!

— Да подвести-то может не она, — намекнул Макеев.

Матросов значительно взглянул на него и стал медленно собирать автомат.

Сроки учебы ускорены. Программу училища надо одолеть в пять раз быстрее, чем в мирное время. Фронту нужны командиры. Время — грозное: в боях решается судьба Родины.

Подразделения курсантов соревновались в учебе. Успех подразделения зависел от каждого курсанта.

На стрельбище Макеев и Дарбадаев плохо стреляли. Матросов недовольно хмурился. Он подал заявление комсоргу роты о вступлении в комсомол и старался, чтоб не только у него, но и во всем подразделении всё шло хорошо, — а дружки портили дело! Он не вытерпел, язвительно заметил:

— Автомат — не лейка, мишень — не огород, — что льете зря?

— Да мне, понимаешь, куда легче б фашиста бить оглоблей по голове, — оправдывался Дарбадаев. — А ложу автомата, понимаешь, как перышко, в руках не чувствую. — И показывает ладони, широкие, как лопата.

А Макеев злобно накинулся на Матросова:

— Какое тебе дело, как я стреляю? Чего взъелся? А еще друг!

— Потому, тезка, и взъелся, что друг. Роту назад тянете, что же мне — веселиться, что дружки мои всех назад потянули? Да?

— Невыносимый ты человек! — выпалил Макеев. — От тебя и в казарме нет покоя. Замучил своими правилами: громко не говори и сапогами не стучи, когда спят, будто спят дворяне. Под ноги не плюй и ничего не бросай, листы книги не загибай, каждую вещь положи на свое место, а не бросай. Всё делай так, чтоб после тебя не переделывали. Словом, придира и въедливый, как перец.

За Матросова вступился Воронов:

— Что же, тезка, эти правила полезные.

А Матросов уже смеялся, потирая руки и вспоминая, как и он сам когда-то называл мастера Сергея Львовича придирой.

— Ты сам не умеешь делать повороты на ходу! — злорадно упрекнул его Макеев. — На смотре ты опозоришь всю роту.

— А это верно, тезка, — сразу согласился Матросов. — Спасибо. Не я буду, если не подтянусь. Повороты — беда моя.

— Мы себя еще покажем! — не унимался Макеев. — Не робкие. В пух и прах будем фашистов бить...

— Не робкие! Этого мало,— опять не смолчал Матросов. — Товарищ Сталин говорит, что успех только тогда обеспечен, когда смелость и отвага сочетаются со знанием дела. Ясно, Макеша? Значит, пользы от нас больше, если лучше знаем и владеем оружием. Верно? Значит, интерес у нас общий и дружба должна помогать во всем. А плохую дружбу — по шапке.

— Дело хозяйское, — проворчал Макеев.

— Да ты чего злишься? — нахмурился Матросов. — Или мне надо было тебя похвалить, что плохо стреляешь? Нет, тезка, по-моему, друг должен помочь другу стать лучше, чем он есть, и поэтому говорить в глаза беспощадную правду. Так я понимаю.

— Правильно, — засмеялись Воронов и Дарбадаев.

Макеев надулся и до вечера не разговаривал с ними. Друзей это не удивило. Иногда, дуясь, он мог не разговаривать по нескольку дней.

После поверки Матросов склонился над книгой и тетрадкой и сидит дольше других. Потом, позабыв уже про ссору с Макеевым, обращается к нему:

— Тезка, вот бьюсь, и не пойму. Помоги, Макеша!

Как пользоваться азимутом[1] в лесистой местности при тумане?

Тот недоверчиво косится на Матросова, но видит его ясный, бесхитростный взгляд и смущенно отвечает:

— Не знаю.

— Ладно! Сбегаю к дяде. В третьей роте — агроном-топограф. Душевный усач, знающий.

— Ну, что ты!.. — не глядя в глаза, говорит Макеев. — Не ходи. Если что в голову мою не лезет, я бросаю. В другой раз восприму. Да и совестно к соседям бегать из-за всякого азимута. Завтра преподаватель разъяснит.

— Всё равно не усну: дело не довел до конца.

— Ну и непоседа же! — дивятся друзья. — Вчера ходил в первую роту узнать у физика, можно ли использовать атомную силу для полета на другие планеты. Третьего дня спрашивал инженера в шестой роте об устройстве паровой турбины. Прямо непоседа.

Через час Матросов возвращается, весело потирает руки:

— Ну и народ, какой народ! — взмахивает он газетами. — Вот про нашу чкаловскую землячку в газетах. Смотрите, как она пишет товарищу Сталину, наша колхозница Агафья Ивановна:

«Москва, Кремль, товарищу Сталину.

Родной Иосиф Виссарионович! Муж мой сражается на фронте, а я хочу ему и своей Красной Армии помочь быстрее разбить врага. Все свои сбережения, заработанные честным трудом в колхозе, я отдаю на строительство танковой колонны имени Чкалова. Я внесла в Госбанк сто тысяч рублей наличными деньгами. Пусть танк, построенный на мои трудовые средства, беспощадно истребляет фашистов и несет освобождение нашим сестрам и братьям. Желаю Вам, товарищ Сталин, здоровья и сил на долгие годы.

Зубкова Агафья Ивановна, колхозница артели «Шестнадцатый Партсъезд», Ташлинского района, Чкаловской области».

---

[1] Азимут — угол, образуемый между направлением на север и направлением на какой-нибудь земной предмет. Наметив по компасу нужный азимут, можно двигаться в избранном направлении.

— Это и моя землячка, — с гордостью говорит Воронов.

— Товарищ Сталин ответил ей, — продолжал читать Матросов:

«Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Агафья Ивановна, за Вашу заботу о бронетанковых силах Красной Армии.

И. Сталин».

Понимаете, вся газета заполнена такими письмами, как Зубковой. Заводы и колхозы, академики, рабочие и колхозники со всех концов коллективами и в одиночку вносят тысячи и миллионы рублей на вооружение Красной Армии.

— Неугомонный, спать ложись! — говорит Воронов.

— Ну, понимаешь, до чего ж здорово! — говорит, раздеваясь, Матросов. — В третьей роте газеты достал; о применении азимута узнал...

— Прямо одно беспокойство с тобой, Сашка! — примирительно усмехается Макеев. — Сам всё петушишься и людей баламутишь. То ты бегаешь за советом, то к тебе бегут...

— Спешу, тезка, подучиться. На фронте некогда будет, а воевать надо умело, чтоб скорей побить фашистов.

В училище большая библиотека, и Матросов жадно записывает в свои конспекты всё вычитанное в книгах. Он настойчиво изучает боевую технику. Поначалу Саша плохо делал в строю повороты на ходу. Его это очень угнетало. И в свободное от занятий время, и в карауле он один, подавая себе команду, шагал, делал повороты, упорно добиваясь четкости движений, пока не научился держаться в строю образцово.

★

Начальник училища просматривает список курсантов-отличников боевой и политической подготовки перед занесением их на доску почета.

— Это который Матросов? Из одиннадцатой роты?

— Точно, товарищ полковник, — отвечает адъютант.

— Отличный будет командир.

У доски почета толпятся курсанты:

— Ого, здесь и Матросов!

— Это какой?

— Да что в нашей роте про азимут спрашивал.

— Это наш! — громко и гордо возглашает Дарбадаев. — Дружок мой.

В училище Матросов находил время и для участия в клубной художественной самодеятельности, пел в хоре. В кружке он обрел еще одного кровного друга — Петра Антощенко. Этот медлительный чернобровый парень пел так задушевно и самозабвенно, что Матросов подолгу заглядывался на него и как-то спросил:

— Ты про что думаешь, когда поешь?

— Про Лесю, жинку, — сразу ответил тот.

— А какой ты области?

— Та Запорожской же. Недалечко от Днепрогэса живу. Ты, може, и сам слышал, — в Москве на сельскохозяйственной выставке наш колхоз «Червоный партизан» золотую медаль получил.

— «Червоный партизан»? — чуть не вскрикнул Матросов. — Я же там был... А ты про Данько слышал?

— Про кого?

— Сказка такая... Отчего полевой мак цветет...

— Так дидуся ж наш мне рассказывал...

— А как деда звать?

— Та Макар же.

Матросов порывисто схватил руку Антощенко и сжал ее до хруста:

— Петро, запомни: друг ты мне по гроб. Родней брата! Я деда твоего в сердце ношу. Жив он?

— Та живой... был живой, а теперь, может, и нет.

Антощенко рассказал: он с отцом бежал от фашистов с Украины, а мать, жена Леся и дед остались. Теперь там враги хозяйничают, и от родных нет вестей.

Матросов, волнуясь, рассказал Петру о памятной своей встрече с его дедом у Днепра, в колхозном саду.

— Век его помнить буду. Это замечательный дед, верь совести. Припоминаю, Петро, он и про тебя говорил, что ты больше всех пионеров области колосков насобирал.

— Смотри ж ты, где встретились! — изумился Анто-

щенко. — Ну, как же я тебя раньше не признал? Через дидусю мы с тобой прямо-таки родня. А с родней всегда легче. Отвоюемся, поедем до нас. Я тебя закормлю кавунами та виноградом, и песен наспиваемся вволюшку.

Так началась эта дружба.

Но вот пришла долгожданная пора. Комсомольское собрание обсуждало заявление о принятии Матросова в комсомол. Матросов волновался: впервые он должен был говорить о себе, о жизни своей перед таким большим, многолюдным собранием. Хотел произнести тут такую горячую речь, которая открыла бы всю глубину его сердца. Хотел сказать, как он, сирота, пропадал, беспризорничая, и как его подобрали, приютили, обласкали и вывели на широкую светлую дорогу жизни. Хотел сказать, как любит он свою чудесную страну, где не может пропасть ни один человек и где всякому доступно счастье. Но говорить ему трудно. Воротник, словно тиски, сжимал горло.

— Родился в семье рабочего, в Днепропетровске. Перед призывом на военную службу воспитывался в Уфимской трудовой колонии. А как жил до колонии, — стыдно мне говорить. Как слепой крот в черной норе...

Он опустил глаза, умолк. Но нестерпимая тишина торопила его, а он не знал, что̀ еще сказать:

— Если б можно было всё повернуть назад, я жил бы по-иному. Да жаль, — нельзя. Близок локоть, да не укусишь. Вот и время упустил для учебы, прямо волосы на себе рвал бы, — так жаль! Всеми силами теперь стараюсь наверстать пропущенное и, вижу, это вполне возможно. Только сам не ленись. Это вот я твердо знаю, что меня, как траву при дороге, затоптали бы в любой капиталистической стране.

Он рукой стер со лба пот и рассказал о перепутьях своей бездомной жизни и как трудовая колония и сама советская жизнь поднимала его на ноги.

— Почему вступаешь в комсомол? — спросили его.

Матросова даже удивил такой простой вопрос. Но тут же понял, как трудно на него ответить: ответ должен содержать весь смысл жизни.

— Ну, как почему? — смутился он. — Ну, чтоб жить лучше, чтоб стать активным борцом, ну...

— Смелей, смелей, товарищ!



— Да что ж! Комсомол — первый помощник партии. А партия руководит борьбой за коммунизм и счастье всех трудящихся. Пусть партия, комсомол и меня считают надежным бойцом. Верьте совести, не подведу.

Был еще один вопрос: почему он до сих пор не вступил в комсомол?

— Не имел права, — сразу ответил он. — В комсомол нельзя итти с плохими показателями. Комсомолец — передовой, а я отставал. Теперь я немного подтянулся и, верьте совести, буду стараться всё делать по-комсомольски.

Больше вопросов не было. Остальное было понятно.

В прениях первым выступил Антощенко:

— Як сирота плаче, никто не баче. Натерпелся и Матросов, когда бродяжил. Теперь сознание у него есть, и гадаю, — боец будет добрый. Предлагаю принять.

Матросова приняли в комсомол единогласно.

В середине января училище вдруг получило приказ: часть личного состава отправить на фронт. Матросов не попал в маршевую роту и оставался в училище. Он очень огорчился и подал начальнику рапорт с просьбой послать и его на фронт.

Начальник вызвал его к себе.

Матросов, печатая шаг, подошел к начальнику, вытянувшись, стукнул каблуками и вскинул руку:

— Товарищ полковник, курсант Матросов по вашему приказанию явился!

Полковник хмуро полюбовался его выправкой и строго спросил:

— Ну, в чем дело? Без вас у меня хлопот хватает.

— Разрешите доложить... Я так понимаю обстановку, товарищ полковник. Сталинград отбили, на всех фронтах сломили фашистов. Теперь только их бить и бить, не переставая, чтобы перья летели! Нельзя давать им передышки. И на фронте сейчас каждый боец важней, чем после. Включите меня в маршевую роту, товарищ полковник, прошу вас, очень прошу...

Начальник слушал внимательно, пытливо взвешивая слова Матросова; и лицо его прояснялось всё больше. Матросов почувствовал себя увереннее.

— Каждый советский человек хочет что-нибудь сделать, чтоб скорее побить врага. Везде, на заводах и в колхозах, люди дни и ночи работают. Верьте совести, и я не подведу.

— А меня, думаете, не тянет туда? Старик, думаете? И я бы их бил, чтоб с них перья летели, — произнес полковник вставая. И, скупо улыбнувшись, взволнованно сказал:

— Хорошо. Включу вас в маршевую роту. Идите! Желаю боевых успехов.

Через несколько дней маршевые роты курсантов пехотного училища стройно шагали на станцию, отправляясь на фронт. Над глубокими и чистыми январскими снегами гремела призывная грозная песня:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

И в звонких голосах запевал слышался и голос Матросова:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Священная война.

Он вспоминал друзей, думал о Лине; и на сердце было легко: да, друзья поймут и одобрят его решение.





Глава IX

НА ФРОНТ!

Быстро мчится воинский эшелон. Играет баян, и летит неодолимая солдатская песня навстречу бескрайным заснеженным полям и лесам, деревням и селам. Стремительно пролетает эшелон полустанки и станции, запруженные людьми, вагонами, машинами. И солдату сдается, будто всё раздвигается перед ним, уступая дорогу. А приглядишься, — всё движется и спешит на запад, на фронт. Бегут груженые поезда, везут боеприпасы, продовольствие, одежду. На платформах, в чехлах под брезентами, как мамонты, опустив грозные хоботы, стоят танки. Дни и ночи непрерывно потоки поездов бегут на запад, на фронт.

В этом великом напряжении всей страны, в движении поездов и людей — неукротимое устремление миллионов человеческих воль, спаянных и направленных к единой цели всеобъемлющим разумом партии большевиков.

Матросов задумчиво смотрит в обледенелое окно, мысленно повторяя мудрые слова: «Великая энергия рождается для великой цели». Да, партия, Сталин пробудили великую силу в народе и указали ему благороднейшую цель освобождения страны и всего мира от фашистского варварства. И поезда мчат фронту снаряды, одежду, хлеб — всё, что сделали для победы натруженные руки чкаловской колхозницы Агафьи Зубковой, уральского сталевара Усова, башкирской швеи Уразбековой и миллионов подобных им советских людей.

На стыках рельсов стучат колеса. Мутный свет пасмурного дня еще проникает сквозь обледенелые окна

вагона. Уже перепеты все песни, угомонился вихрастый гармонист Пашка Костылев, и люди в полумраке играют в шахматы и в домино. Только Антощенко сидит у окна против Матросова и тихо всё еще поет грустные украинские песни.

Перед Матросовым — книга. Он уже прочел ее и листает, повторяя подчеркнутые им места. Хотелось как можно больше сохранить в памяти хорошего, поучительного. Вот волнующие слова товарища Сталина:

«Можете не сомневаться, товарищи, что я готов и впредь отдать делу рабочего класса, делу пролетарской революции и мирового коммунизма все свои силы, все свои способности и, если понадобится, всю свою кровь, каплю за каплей».

Матросов еще раз повторил эти слова и, закрыв глаза, задумался.

Ему хочется поделиться с кем-нибудь своими мыслями; он взглянул на Антощенко и улыбнулся.

Антощенко, широко открыв черные глаза, завороженно глядит куда-то вдаль и, покачивая головой, вдохновенно декламирует:

Ой, сердце всё лыне в той гай золотый,
Де Леся спивала про щастя и долю.
Ой, витре, мий брате, мий вистник крылатый,
Лети ж ты по морю, по чистому полю,
Скажи моий Леси, що вирно люблю.

Заметив, что Матросов внимательно слушает его, Петро сразу замолк, опустил глаза.

— Чьи это стихи, Петро?

— Та ничьи.

— Как ничьи? Хорошие и ничьи?

— Та не сердься, друже, — мои вирши.

— Ох, Антошка, да ты поэт!

— Не смейся. То я про Лесю нарочно так складаю слова, щоб их спивать можно было.

— Ну, еще читай.

— А ты часом не шуткуешь?

— Вот чудак! Да просто ж хорошо! Читай!

Антощенко читает стихи о Лесе уже с грустным лицом и без прежнего душевного подъема. А когда кончил читать, глаза его повлажнели, губы по-детски дрогнули, он отвернулся.

— Ну, что ж ты, Петрусь!..— участливо сказал Матросов.— Такие хорошие стихи, а ты насупился.

— Знал бы ты, Сашко, як тяжко сердцу!— тихо сказал Антощенко.— Чую, фашист-катюга издевается над Лесей и семьей. А може, замучил уже, а я тут вирши складаю.

Матросов задумался. Какими словами утешить друга?

Поезд подходит к большой станции, забитой эшелонами и людьми.

— Где чайник? За кипятком пойду.

— Не твой черед, Саша,— мой,— говорит Костылев.

— Ничего. Доброе дело можно делать и вне очереди.

Он любит ходить на станции: можно увидеть много незнакомых людей, узнать последнюю оперативную сводку, добыть газеты. С чайником он бежит к вокзалу. У витрины — толпа... Люди читают сводку. Он приподнимается на носки, чтобы лучше видеть. Прочитав сводку, он довольно усмехается и говорит соседу:

— Хорошо! На всех фронтах разворачиваются большие дела.

С хорошим настроением он подбегает к кубу с кипятком. Тут непорядок. В клубящемся облаке пара толпятся люди, толкают друг друга, обжигаясь, проливая кипяток. Матросов с минуту смотрит на бестолочь и не может ее терпеть. Он еще под впечатлением прочитанного. Как эти люди не понимают, что надо всё делать организованно, аккуратно!

— Ну-ка, военные, покажем пример,— властно говорит он.— Так дело не пойдет. Кипятку не возьмем и ошпарим друг друга. Стройся в очередь! Ну, кому говорю? Становись в затылок!

Он быстро навел порядок. Люди благодарят его, уходя с кипятком.

— Молодец! По-нашему, по-военному,— говорит ему девушка в мешковатой шинели, туго затянутой ремнем. Обожженное морозными ветрами лицо ее осветилось улыбкой, и в черных глазах — веселый огонек.

Матросов вздрогнул от удивления: где и когда он видел этот вздернутый носик и коричневую родинку около носа?

— Мы с вами будто встречались где-то? — спросил он.

— Я из Ленинграда, — ответила девушка.

— Из Ленинграда? — недоуменно переспросил Саша.

— Ну да, ведь я же вам только что об этом сказала!

Девушка порывисто сдвинула шапку-ушанку на затылок и не смогла умолчать о своей радости.

— Сводку знаете? — И, не дожидаясь ответа, быстро заговорила: — Войска Волховского и Ленинградского фронтов прорвали блокаду Ленинграда! Теперь бьют фашистов в Синявинских болотах. Вот хорошо-то!

— Знаю: я только что прочел сводку, — улыбнувшись, ответил Саша. Подумав немного, он спросил: — Скажите мне, как вас зовут?

— Людмила Чижова.

— Люда? — почти вскрикнул он.

— Ну да! — засмеялась она. — Сержант отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Вон наши вагоны в конце вашего эшелона.

— Товарищ сержант, а вы не были на Днепропетровщине?

Девушка всмотрелась в Матросова, вдруг просияла и обхватила его шею руками:

— Саша! Родной Саша! Да я ж думала, что ты совсем пропал. Да как я тебя сразу не узнала? Помнишь, как мы с тобой альбом разрисовывали?

— Ну вот, — стыдливо и осторожно отстраняясь от Люды, сказал он, — а говоришь: «Я из Ленинграда!»

— А как же, Сашенька? Ведь я студентка Ленинградского университета. Понимаешь?

Они так увлеклись воспоминаниями, что и не заметили, как подошли уже к вагонам зенитного дивизиона. Спешили поговорить обо всем, боясь, что судьба, так неожиданно и щедро наградившая их этой желанной встречей, так же быстро и оборвет ее.

— Ну, какой же я индюк? — засмеялся он. — Как я не заметил, как не почувствовал, что к нашему эшелону прицепили ваш дивизион и что ты, Люда, едешь со мной в одном поезде! Говоришь, студентка? Но почему же ты тут?

— Да я бы ни за что не уехала из Ленинграда. Обстрелы и бомбежки не пугали меня. Только надо было, — заставили эвакуироваться.



Он слушал ее, жадно ловя каждое слово: многое еще ему хотелось узнать о Ленинграде, о ней самой. Но вот уже свистнул паровоз.

В черных ее глазах искрился ласковый огонек:

— Ты ж скорей приходи к нам. Наши девушки рады будут, — ой, как рады! Петь будем, чай пить. Ох, и запируем, Сашенька!

— Спасибо, приду.

— Может, в Москве будем. По музеям вместе походим, — говорит она. — А в Ленинграде после войны встретимся, весь город осмотрим.

Их эшелон, дрогнув, тихо тронулся.

— Не прощаюсь, — махнула она рукой. — Увидимся на следующей станции. Ждать буду, приходи, — и побежала к своему вагону.

Запыхавшийся и радостный, он вскочил в свой вагон:

— Почему тихо? Дружки мои, ну и хорошую же я сводку читал!

— Сводка сводкой, — усмехнулся Воронов, — а мы

боялись, что ты отстанешь. Заговорился с девушкой и о нас забыл.

— Э, да у него и кипяток ледком покрылся!

— Какая девушка, хлопцы! — искренне восторгался Матросов. — Какая девушка! Обстрелянная и смелая. Настоящая ленинградка. И, оказывается, моя старая знакомая. Вы сами увидите, какая это редкая девушка.

— Приглашала тебя одного или всех? — спросил Дарбадаев. — Что ж, пойдем. — Потом задумчиво проговорил: — Только и у нас в Башкирии девушки не хуже. Иная летит на коне, как птица.

— А Люда песни спивает? — спросил Антощенко.

— Еще как!

— Можно с ней поспивать, — вздохнул Петро. — Только знаю: никто на свете не может петь краше моей Леси. Бывало на човне плывем по Днепру, спиваем, и песня летит на всю степь.

Матросов снял ушанку, потер лоб ладонью.

— Слушай, хлопцы, сводку. Сообщение Совинформбюро.

— Сталинград как? — не вытерпел Воронов.

— Там наши добивают окруженных гитлеровцев. А в Ленинграде прорвана блокада.

Люди вскочили с полок, окружили Матросова, зашумели в радостном возбуждении. Кто-то крикнул «ура».

— Везде наши наступают и бьют фашистов, — взволнованно говорит Матросов. — На Юго-Западном фронте наши заняли Белую Калитву, Каменск, форсировали Северный Донец. Под Великими Луками наши тоже погнали фашистов. Бьют и гонят их на Северо-Кавказском, и на Воронежском. Заняли города Валуйки, Уразово. Полностью окружена вражеская группировка в районе Каменка — Россошь и уничтожается. А в тылах у гитлеровцев везде орудуют наши партизаны. Скорей бы и нам дорваться! — нетерпеливо потирает он руки.

Неудержимо мчится эшелон. Безостановочно проскочили несколько станций и полустанков.

Матросов смотрит в обледенелое окно. Всё гуще синие сумерки. Он укрепил на столике зажженную свечу и стал писать письма Лине, воспитателю Четвертову и

Тимошке. Вспомнил других своих друзей по колонии. Перед отъездом из училища он получил письма от Брызгина и Чайки. Они уже в армии. Еремин стал мастером на фабрике. «А как там Тимошка, Тимоня? Эх ты, Жак Паганель, мой курносый братишка! Писал, что стал теперь стахановцем».

Дробно стучат на стыках колеса. Мчится эшелон, огнями рассекая черноту ночи. И долго еще, склоняясь у свечи, пишет Матросов.

Но вот поезд замедляет ход. Люди прильнули к окнам. Видно, большая станция. При непонятных световых вспышках резко из темноты выделяются огромные черные силуэты заводских труб, корпусов. Поезд остановился, и бойцы кинулись к выходу. Первым спрыгнул с подножки Костылев.

— Где зенитный дивизион, Саша?

— Тише ты, индюк! Военная тайна.

Костылев нетерпеливо схватил Матросова за руку, и они быстро пошли в конец эшелона.





Глава X

ФИЛИ

Синий тусклый свет фонарей слабо освещал рельсы, вагоны. Станция, видно, большая; много эшелонов, разноголосые гудки паровозов. В конце эшелона, куда Матросов вел друзей, играл баян. В синем полумраке навстречу им шла девушка в шинели. Матросов сразу узнал ее.

— Саша, ну скорей же! — подбежала и заторопила его Люда.

— Какая станция, Люда?

— Станция Фили. Вон Москва, Сашенька, — кивнула она.

Замедлив шаг, он взглянул туда, куда показала Люда. Там ничего не было видно. Город был тщательно затемнен. Только слышался отдаленный гул, да изредка голубые трамвайные вспышки выхватывали из темноты никогда не виданные им, но почему-то знакомые очертания города. Матросову хотелось остановиться, поговорить о Москве, насмотреться на нее хоть издали, ловя ее видения в мгновенных вспышках. Но Люда тянула его за руку:

— Пойдем, пойдем скорее, — ждут!

Вокруг баяна в слабом синем свете фонаря уже пели и танцевали, пристукивая каблуками о мерзлую землю.

Людмила схватила за руку Сашу и втянула в бурлящий круг.

Танцевали уже и друзья Матросова — Воронов, Дарбадаев, Макеев, а белый вихор Костылева, высокого, но верткого, мелькал всюду. Только Антощенко стоял, хмуро

насупясь. Матросов понимал его тоску и всегда старался утешить, развлечь его. Он подошел и теперь к нему:

— Петро, что нос повесил, когда все веселятся? Иди в круг, кажи товар лицом.

— Эй, гармонист! — отчаянно крикнул Антощенко. — Давай гопака! Да такого, щоб земля гнулась!

Вначале с ним в круге танцовало с десяток бойцов и девушек в солдатских шинелях. Потом в круге становилось всё теснее. Антощенко так стремительно танцовал, крутясь, приседая, подпрыгивая, загребая и выстукивая каблуками, что только полы шинели мелькали, как крылья огромной птицы, и снежная пыль разлеталась кругом.

— Гоп-гоп! Гоп-гоп! — приговаривал он и кричал гармонисту: — Ще жару! Дай огня!

— Ну и Антошка! — смеясь, дивился Матросов.— Не знал его таким. Вот и пойми его: неповоротлив, молчалив, неуклюж, а он быстрый, как вихрь.

В кругу остались только Люда и Петро. Теперь они, уже не суетясь, старались показать свое мастерство. То Антощенко «навприсядки» рыл каблуками землю, замысловато крутя «кренделя» и вскидывая ноги выше головы, а она вокруг него плыла павою, то оба неслись по кругу в буревом неистовстве.

Наконец гармонист устал, и танцующие под одобрительные возгласы вышли из круга, раскрасневшиеся, усталые и довольные.

Костылев сразу же дернул Матросова за рукав:

— Скорей познакомь с Людой!

Матросов представил ей своих друзей, а она познакомила их со своими подругами.

— Вот потанцовали вместе, — смеется Люда, — и знакомство крепче будет.

— Ну, расскажи, Люда, про Ленинград, — просит Матросов.

— Что ж говорить? — улыбается Люда, всё еще находясь под впечатлением танцев. — Меня раз-таки чуть не убили проклятые фрицы, честное слово. Наш отряд рыл траншеи на Марсовом поле. А я, знаешь, из учетного бюро по набережной Невы несла девушкам продовольственные карточки. И только дошла до Фонтанки, фашисты начали обстрел: и так бьют — вода в Неве от

взрыва снарядов бурлит и фонтанами летит выше домов. Осколки свистят. Я бегу вдоль Летнего сада. Думаю, — проскочу. А моряки с кораблей кричат мне: «Ложись, девушка, — сшибет!» А я так бегу, что дух захватывает.

— А почему не переждала?

— Нельзя было: голодные девушки хлебных карточек ждали. А голодный какой работник? Они и так еле ноги волочили. Соберемся бывало, дрожим от холода и при коптилке говорим, — неужели снова будет время, когда мы вволюшку будем есть картошку и хлеб, этот черный, ржаной, пахучий хлеб? Неужели опять будем слушать оперы, танцовать в карнавалах на Масляном лугу в Кировском парке? Как не умели мы ценить нашу мирную жизнь! И вот так помечтаем, потом озлимся, кинемся на работу и до упаду работаем. Хорошие у нас люди, Саша!

— Что верно, то верно, товарищ сержант, — заговорил вдруг стоящий в задних рядах боец. — Панфиловцы, например. Им Сталин на параде в ноябре сорок первого смотр делал. Своими глазами видел я.

И все повернулись к нему. Это был белорусс Михась Белевич, высокий, синеглазый. Он сразу оказался в кругу и очень смутился.

— Да я что ж! Я к тому... Не боязливы люди: для Родины готовы хоть на фашистов, хоть на какие другие дела.

— Да ты говори, говори! — подбадривал его Матросов.

Белевич сдвинул набок ушанку, поправил поясной ремень и показал варежкой в сторону города, где в темноте, как всполохи, время от времени освещали небо голубые вспышки.

— В ночь на седьмое ноября мы спать не могли. О параде еще не знали, но чувствовали: будет. Чистим винтовки, пришиваем подворотнички, начищаем сапоги, — словом, готовимся. А все-таки ж тревожились: фашисты в двух переходах от Москвы. И слух был такой, будто Гитлер всё бесился и требовал от своих генералов, чтоб те как можно скорей Москву взяли. Да и авиация их могла налететь.

Часов в пять нас повели на парад. Еще темно было, а москвичи уже заполняли улицы, приветствовали нас.

Шел снежок. Белели баррикады из мешков с землей. Вот обходим танкистов. Снегом залепило их порядком. Мимо Исторического музея выходим на Красную площадь.

Построили нас на площади. Рассвело уже, и белым-бело было кругом от снега. Облепило снегом мавзолей, кремлевскую стену, елочки у стены. Была команда «вольно», а мы недвижно стоим, как примерзли к земле, смотрим на трибуну мавзолея, на Спасские ворота, шопотком переговариваемся.

Стоим. Помню, Сидоров шепчет: «Повидать бы мне товарища Сталина, а потом попрошусь в самый кромешный бой».

Раздалась команда: «Равняйсь!» И тут скоро кругом такое загремело «ура», что я кричал и своего голоса не слышал. Тут я и увидел, как товарищ Сталин поднялся на трибуну. Шинель простая, серая на нем, фуражка с красной звездочкой. Руку поднял, приветствует нас. Это ж была такая минута — никогда не забуду...

Белевич умолк. Он, видимо, не впервые рассказывает об этом, но и теперь заново переживает волнующую минуту. С таким же волнением будет он, видно, рассказывать о ней своим детям и внукам.

— Ну, продолжай, продолжай, Михась! — просит Матросов.

— И когда он говорил, мы замерли, и стало так тихо, что слышно было, как шумел ветер в знаменах. Какие слова он говорил! Он вспоминал о том, как трудно было, когда в гражданскую четырнадцать государств напали на нашу разоренную страну! А большевики не пали духом, потому что знали: с ними народ, — и победили. А теперь мы куда сильнее врага. И обязательно побьем его. Не так страшен чорт, как его малюют, говорят. Смотрю я — Сидоров усмехается, а на глазах — слезы. А как сказал Иосиф Виссарионович: «Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина», тут и у меня защемило сердце и глаза, понимаете, заслезились. А когда уходили с площади, сводный оркестр грянул ту песню, что в гражданскую войну еще пели: «Приказ голов не вешать, а глядеть вперед». Мы подхватили ее. Век того не забуду... Ну, хлопцы, а потом пошли мы прямо в бой и так влепили фашистам, что десятки километров они мордой землю ковыряли!

— Михась, — вдруг придвинулся поближе Матросов и, точно забыв, что тут еще есть люди, страстно сказал: — Дай руку, Михась. Ты мне друг по гроб. Верь совести. Что ж ты раньше не говорил? Почему молчал? .. Люда, где ты? — поискал он глазами и, увидев, схватил ее руку. — Познакомься с Михасем. Дружки вы мои!

Два прожекторных луча вдруг полоснули над Москвой по серым низким тучам, как гигантские голубые мечи, и потом оба концами уперлись в одну точку. Люди взглянули туда и на минуту умолкли. Прожекторы напомнили неутихающую военную грозу. Костылев развернул мехи́ баяна. Ему хотелось показать Люде свое искусство. Все рады были продлить минуту отдыха. Польщенный похвалой Матросова и его друзей, Михась Белевич крикнул Костылеву:

— Ну-ка, играй «Лявониху» либо «Крыжачка»! Знаешь?

Когда раздалась команда «По вагонам!», все очень удивились, что так быстро кончилась стоянка в Филях.

— До свиданья, Люда, до утра, Люда, — говорит Матросов.

Рано утром на какой-то глухой станции Матросов с друзьями побежал в конец эшелона. Но Люды-зенитчицы уже не было. Вагоны дивизиона ночью где-то были отцеплены.

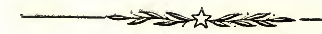
— Адрес! — огорченно вскрикнул Костылев. — Я даже адреса их не записал!

— Адрес у всех общий: фронт, — вздохнул Матросов.

Так снова и затерялась на военных дорогах черноглазая Люда, мелькнув, как во сне, и короткой встречей оставив волнующую память о себе и ленинградцах.

Эшелон, миновав Нелидово, домчался до станции Земцы. Тут и закончился долгий путь поезда.





Глава XI

НУЖНЫ САМЫЕ СМЕЛЫЕ

В ысыпай, братки! Домой приехали, — шутит Матросов, выскакивая из вагона.

Возбужденные солдаты весело прыгают вслед за ним на железнодорожное полотно.

Вдоль вагонов вытянулись стройные шеренги и по команде «Смирно!» замерли. Серые вещевые мешки на спинах аккуратно подтянуты.

Вдоль строя медленно идут незнакомые командиры. Оценивая новое пополнение, они пристально вглядываются в лица людей.

Матросов ловит их взгляды, всматривается в их обветренные лица. Вот они, настоящие фронтовики, обстрелянные, испытанные!

— Вольно! — охрипшим басом скомандовал огромный, с длинными седыми усами старшина Кедров в шапке-ушанке и полушубке с опаленной полой, и на широкоскулом лице его расплылась добродушная улыбка.

— Вот это гвардия! — кивнул Макееву Матросов, любуясь могучей фигурой старшины. — Как из камня высечен.

— Сибиряк, одно слово.

Вперед вышел старший лейтенант Артюхов. Туго затянут ремнями белый полушубок, меховая цигейковая шапка-ушанка чуть сдвинута набок. Вытянулся перед строем, прямой, подобранный.

— Товарищи, я отбираю в роту автоматчиков, самых смелых и смекалистых. — Серые глаза его быстры, про-

нзительны. — Предупреждаю: у меня трудно будет. Автоматчики будут выполнять самые сложные боевые задачи — десантом врываться на танках в самую гущу врагов, воевать в фашистских тылах. Кому это не по плечу, — лучше помолчи. — Он подумал и еще тверже, почти сурово, раздельно сказал: — И еще имейте в виду: буду требовать беззаветной храбрости и презрения к смерти. Ну, есть желающие в мою роту?

Секунду длится тишина. Потом твердо звенит тенорок:

— Есть такие!

Артюхов ищет глазами в рядах. Взгляд его останавливается на задорно поблескивающих голубых глазах ничем не выделяющегося в шеренге паренька. Артюхов на секунду задерживает взгляд на нем.

Матросов смутился и хотел отвести глаза, но выдержал взгляд командира. Не сразу он ответил ему: «Есть такие!» Подумал, способен ли он выполнить все требования, о которых говорил тот. Вспомнил свои слова, сказанные, когда его принимали в комсомол, что он всё будет делать по-комсомольски, значит, во всем будет передовым, и решил: должен выполнить эти требования. Теперь его глаза с чуть заметным озорным огоньком говорили: «Это я сказал».

К нему подошел сразу запомнившийся скуластый капитан, на молодом, почти юношеском лице которого выделялись седые виски.

— Комсомолец? — спросил он.

— Так точно, товарищ капитан.

Артюхов с довольной усмешкой повел глазами по рядам и шепнул капитану:

— Все ребята на подбор. Глаза разбегаются, не знаешь, кого и взять. — И кивнул командиру взвода — краснощекому лейтенанту Кораблеву: — Запиши сначала добровольцев.

Кораблев шагнул вперед:

— Ну, кто желает в автоматчики?

Снова недолгое молчание. Тишина.

Поднял руку Матросов. Потом, глядя на него, поднимают руки Воронов, Дарбадаев, Макеев, Костылев, Белевич и многие другие. Комвзвода теперь не успевает записывать.



— Автоматчики — мировые ребята! — говорит Матросов. — Пишись, братки!

Отбор закончен. Новых автоматчиков ведут в часть. В лесу они идут вольным шагом. Узкую дорогу обступает густой заснеженный зеленый ельник. Монотонно хрустит снег под ногами. Матросову страсть как хочется заговорить с кем-нибудь из командиров. Но заговорить первым стесняется. Да, может, по службе это и не положено. И когда старшина Кедров заговорил с ним, он очень обрадовался.

— Это ты первый поднял руку?

— Я, товарищ старшина.

— То-то, я тебя заприметил сразу. Хоть у нас в Сибири и нет таких дробных, но ты, видно, сибиряк.

— Нет, я из Уфы. Но нужно ведь было кому-нибудь первому. Я комсомолец, мне иначе нельзя.

— А я, видишь, большевик и люблю смельчаков.

— Да, я, товарищ старшина, собственно говоря, мечтал в разведчики. Разведчиком в тылу у врагов можно такие дела развернуть, что любо-дорого. Но в автоматчики — тоже неплохо.

— Ясно, неплохо. В самый раз угадал.

Кедров испытующе посмотрел на Матросова. Что-то ясное и чистое было в глубине его с виду озорных глаз. А разлет бровей — резкий, орлиный. Золотисто-темные, густые ресницы и такой же пушок на верхней губе.

— Годков-то сколько?

— Девятнадцать, — не сразу ответил Матросов. Ему хотелось казаться старше перед этим усатым сибиряком, но прибавить годов неудобно.

— Это не беда, что мало. Считают не по годам, а по ребрам.

Матросов давно уже познал прелесть добрых отношений с новыми людьми. Он сближался с людьми быстро, если чувствовал, что у них можно научиться путному, узнать что-нибудь интересное. А здесь у него глаза разбегались: хотелось скорей узнать командиров своей части, опаленных пороховым дымом и овеянных боевой славой.

В сторонке мелькнул, как живой снежный ком, лесной заяц-беляк.

— Эх, мать честная-а, — вдруг встрепенулся Кедров. — Вот бы душу-то отвести, поохотиться!

— Вы охотник, товарищ старшина?

— И не говори, — хуже пьяницы! Пропадал бы в лесу... Да гляди ж ты, а вон клёст пролетел. Ишь, как звонко крикнул. До чего ж, брат, занятная птица! Гнездует клёст, выводит птенцов даже в такое неположенное время, как теперь, в трескучий мороз.

— А это какие? — указал Матросов на стайку пичужек с черной маковкой.

— Синичка-гаечка... А вон та на снежку под елкой — голубая лазоревка. Тут обязательно должен быть и дятел-долбун. — И Кедров ищет глазами. — Ну да, вон прилип рябой к стволу у сосны и кует себе. Вон, вон, черно-белый, малиновая грудка. Дело ясное: где дятел, там и синицы. Он выдалбливает в коре жучков-короедов, а синицы подбирают, лакомятся.

— Вы всё про птицу, оказывается, знаете.

— Да, я все повадки звериные и птичьи изучил.



— Я тоже очень люблю природу.

Кедров щурится на собеседника:

— Гоже, что любишь. Мне как раз такие по душе. Я тебя еще на станции приметил. Глаза, вижу, зоркие, как у беркутенка.

— Товарищ старшина, у меня большая просьба. Можно в наш взвод перевести Белевича? Михась Белевич, белорусс.

— Родня, что ли?

— Нет, но это такой человек!.. Словом, панфиловец. Москву защищал, понимаете, Сталина видел.

— Так и я видел.

— Видели? Где?

— В Кремле, на совещании стахановцев. И меня, значит, как кузнеца-стахановца вызвали в Кремль...

— Вот повезло! А еще кто был?

— Да кто? Стаханов сам, колхозница Маруся Демченко, кузнец Бусыгин, трактористка Паша Ангелина, — много было.

Старшину позвали к командиру роты, и он, обернувшись, пообещал:

— А насчет Белевича спрошу.

Матросов с улыбкой смотрел на богатырски широкую спину старшины.

— Антошка! — окликнул он шагающего впереди Антощенко. — Ну и везет мне на людей, ну и везет! Понимаешь, этот старшина...

— Да ты сам везучий. Видишь, примечают тебя.

★

Друзья были довольны назначением. В один взвод лейтенанта Кораблева попали: Матросов, Воронов, Макеев, Дарбадаев, Антощенко, Костылев и Белевич. Они были довольны и своей новой воинской частью. Сталинская бригада добровольцев-сибиряков, сформированная осенью сорок второго года в Новосибирске, входила в состав Сталинского стрелкового корпуса.

В октябре бригада была уже на Калининском фронте и в ноябре вступила в горячие бои в районе Красный Стан — город Белый. После ряда трудных, но успешных наступательных боев бригада была отведена для пополнения.

Новичков разместили в землянках. Матросов вошел в землянку с волнением: тут начиналась подлинная фронтовая жизнь.

— Вот они, наши хоромы! — усмехнулся он и хозяйским взглядом окинул новое жилье. Сквозь маленькое оконце скупо проникал серый дневной свет. Пахло увядшими березовыми ветвями, слежавшимся сеном.

Саша сразу увидел тут непорядки, которые легко можно было устранить. Печурка полуразвалена, стекло в оконце внизу сдвинуто, в дыру дует ветер, даже залетает снежок, на полу валяются сухие ветви.

— Эй, друзья, да этот дворец мы можем сделать уютнее! — сказал Матросов и, сбросив вещевой мешок и шинель, стал засучивать рукава гимнастерки. — А то мерзнуть, вроде, стыдно. Ну-ка, хлопцы, за дело!

Через несколько минут землянка была выметена, дыра в окошке заделана, а сам Матросов заканчивал обмазывать печку.

За этой работой и застал его старшина Кедров.

— Специальность твоя печник, что ли?

— Нет, слесарь. Да ведь солдат должен всё уметь, товарищ старшина.

— Это правда, — кивнул старшина и, помолчав, сказал: — Ну, товарищи, кто член партии, — заходи ко мне в землянку. Я парторг роты.

Вечером, при свете коптилки, попыхивая у печки трубкой, Кедров с гордостью говорил новичкам из пополнения:

— Прямо вам скажу: ваше счастье, что попали к нам. Народ у нас крепкий. Словом, сибиряки, а значит, и не пугливые. Двадцать шесть контратак отбили. Земля под нами горела, а никто из наших людей не струсил. А потом, значит, выдержали мы характер и как трахнули по башке врага, — тридцать семь километров гнали его и всё били — и в хвост, и в гриву. Освободили до сорока населенных пунктов. Разбили полсотни немецких танков, шестнадцать артбатарей. Захватили сотни автомашин, много пушек и другого оружия и трофеев разных набрали уйму. Вот они какие сибиряки!

Трубка его засопела. Матросов протянул ему кисет. Вынули кисеты и другие бойцы.

— Моего покурите, товарищ старшина.

— Мой крепче, за печенку берет.
— А мой уфимский, пахучий.

Кедров, чтоб никого не обидеть, по щепотке взял из каждого кисета, набил трубку.

Матросов в знак особого уважения поднес к его трубке горящую тростинку:

— А в бою поначалу было страшновато?

— Как же не страшно? Любая букашка жить хочет, а человек и подавно. А ты его зубами стиснешь, страх этот, и делаешь, как тебе следует. Хныкать всякий хлюпик умеет, а ты сам не хнычь и другого подбодри, вот тогда ты фронтовик. Да теперь и воевать куда ясней. Знаешь, за что воюешь. Вон в царскую войну, к примеру, под Тарнополем гнали меня в бой голодного и безоружного, гнали на верную смерть. А за что я должен был воевать? За наживу заводчиков и купцов-барышников? Или за то, что царь замучил моего отца на каторге, а я остался безродным подкидышем? — сердито спросил Кедров, шевеля седыми усами.

Все придвинулись ближе и затихли. Но старшина сопел своей трубкой, ковырял палочкой угольки в печке и молчал. Матросов не вытерпел:

— Ну, расскажите о себе, товарищ старшина. Почему подкидыш и сын каторжника?

Кедрова еле упросили рассказать о себе.

— Владимирка, — вздохнув, начал он хмурясь. — Дорога такая начиналась от Москвы. Теперь шоссе Энтузиастов. По Владимирке в самую Сибирь гнали в кандалах революционеров. Так угнали и моего отца, когда я был еще сосунком...

Кедров старался говорить спокойно, а усы его часто подергивались, бурое лицо морщилось.

Мать, видно, сильно любила отца, потому что с ребенком пошла вслед за ним по бесконечной Владимирке.

Немногое он, Кедров, знает о судьбе своих родителей. С тех пор как помнит себя, он жил в богатой кулацкой семье. Его часто пинали, как щенка, кормили объедками, называли подкидышем, и он лет шести уже понял, что в этой семье — чужак. Сердобольная старуха однажды объяснила ему горький смысл слова «подкидыш» и почему его, малыша, называют этим словом. Никто не знал имени матери и ребенка. И потому что подобрали ребен-

ка под кедром в месяце марте, — назвали его: Мартын Кедров. А вскоре полая вода вынесла на берег реки и труп неизвестной пришлой женщины.

— Не под силу мне было у кержака, — продолжал Кедров. — Замучил меня бородач работой, да всё с богом да с укором. Подрос я малость и сбежал от него. Только попал я из огня да в полымя. Принял меня в учение один хозяйчик, владелец кузницы. Тут за всё давали подзатыльники. Переступишь — бьют, недоступишь — бьют, мало сработал — бьют, и много съел — опять бьют... Так вот я и рос и мыкался по свету, а потом, в восемнадцать лет, забрали меня в солдаты.

Он стал рассказывать, как в окопах во время прошлой мировой войны тайком читал большевистскую газету «Окопная правда» и как после революции отстаивал молодую советскую республику.

— Ой, жарко нам было! Со всех сторон, как шакалы, лезли на нас колчаки, деникины, юденичи и с ними вся нечисть капиталистическая. У них была лучшая техника, а мы бились, чем попало...

Комсорг батальона лейтенант Брагин вошел незаметно в землянку и стоял у входа, пока Кедров не кончил говорить. Потом пробрался к печке, потирая руки. Ему сразу уступили место.

— Э, да вы, хлопцы, хорошо устроились! — весело подмигнул Брагин, окинув землянку взглядом. Лицо его было такое приветливое, что будто даже бородавка на правой щеке весело играла. И всем показалось, что они уже давно знакомы с этим белокурым юношей в шинели. — Ага, — хлопнул он себя ладонью по колену, — так, вы, сдается, уже и о боевых традициях части заговорили? Что ж, наша часть хоть и молодая, а героев у нас уже много. Взять хотя бы нашего капитана Буграчева, помощника начальника политотдела по комсомолу. Надеемся, — звание Героя Советского Союза присвоят ему. Да вы на станции, наверно, приметили его. Молодой, а виски седые. В деле таком побывал, что поседел.

Все приготовились было слушать рассказ об одном из героев части, но к Брагину быстро подошел связной и, вытянувшись, сказал:

— Товарищ лейтенант, в штабе вас ждет капитан Буграчев.

— Легкий же он на помине! — засмеялся Брагин. — Ну что ж, товарищи, в другой раз поговорим.

Но как только Брагин и связной ушли, Матросов и его дружки стали упрашивать Кедрова, чтоб он рассказал о Буграчеве.

— Хорошо, расскажу, — согласился Кедров. — Известно, капитан — это настоящий комсомольский организатор. Лейтенант, конечно, заговорил о нем не случайно.

Буграчев накануне войны отлично окончил сельскохозяйственную академию и начал было научную работу. Но в первые же дни войны он добровольцем ушел на фронт.

В августе сорок первого года, когда наши части с тяжелыми боями отходили из Эстонии, раненый комсорг батальона Буграчев оказался в тылу у немцев. Восемь дней полз он к отдаляющейся линии фронта, полз без медицинской помощи и пищи, утоляя жажду болотной водой. По пути осматривал убитых бойцов и командиров, уничтожал их документы, а партийные и комсомольские билеты забирал с собой. И на девятый день, когда он добрался до своих и сразу впал в беспамятство, у него нашли пятьдесят семь партийных и комсомольских билетов.

— Дело понятное, — пояснил Кедров. — Попадись он фашистам с такими документами, — верная гибель.

А когда бригада вступила в бой под городом Белый и комбат был тяжело ранен, комсорг батальона Буграчев принял командование батальоном. Умелым, решительным фланговым ударом разбил он противника и занял шесть населенных пунктов. Бригаде был открыт широкий простор для дальнейшего наступления. За эту операцию, шел слух, он и представлен командованием к званию Героя Советского Союза. Ему присвоили звание капитана и назначили помощником начальника политотдела бригады по комсомолу.

Матросов слушал Кедрова затаив дыхание. Он и раньше искал в каждом человеке что-нибудь поучительное. Тем более его интересовали здесь дела и судьбы людей, испытанных в боях, людей, которые с этого дня будут его боевыми друзьями и наставниками. Герои, о которых он читал в газетах, были теперь рядом с ним, он еще яснее чувствовал их доблесть.

Кедров вдруг заметил входящих в землянку Буграчева и Брагина, быстро встал, хотел скомандовать: «Смирно!», но Буграчев махнул рукой:

— Не надо.

Он запросто снял шапку, сел у печки, приглаживая волосы и всматриваясь в лица бойцов.

Матросов смотрел на него, не сводя глаз. Да, именно этот вот человек, израненный и обескровленный, восемь дней и ночей сознательно рисковал жизнью, сберегая партийные и комсомольские билеты в тылу у врагов. Видно, очень трудно и страшно ему было, раз так побелели его виски. Но он преодолел страх и достиг своей цели. Это и есть настоящий человек — отважный советский воин. Матросов взволнованно смотрел на Буграчева, ждал, что тот скажет сейчас что-нибудь особенное. Но Буграчев потер ладонью лоб и спросил:

— Хлопцы, а как у вас портянки, валенки и вообще одежда — в порядке? А то, видите ли, на войне никогда не знаешь, что̀ завтра делать прикажут... Может, тактические учения, а может, долгий марш или бой.

Он вглядывается добродушными грустными серыми глазами в лица людей. Темная прядь волос, смоченная по̀том, прилипла ко лбу, уже пересеченному тремя тонкими морщинками. Без шапки у него особенно выделялись белые виски и широкие скулы. От его полушубка пахло овчиной и дымом.

Матросову раньше казалось, что герой даже внешне чем-нибудь отличается от всех людей, может быть, особым поведением, одухотворенным взглядом. Буграчев прост, как все, и вид у него даже скучный, и заговорил сразу о портянках. И всё же, несомненно, он — герой. Для него, Матросова, полны нового значения простые слова Буграчева о готовности к маршу и бою. Значит, величие духа и умная простота нераздельны.

Буграчев достал из кармана кисет:

— Закуривайте, кто хочет.

Свернул толстую цыгарку, и несколько человек протянули ему огонь — кто горящую лучину, кто спичку. Он не спеша затянулся и синей вьющейся струйкой пустил вверх дым и заговорил о фронтовой жизни, о предстоящих боях, о смысле народной войны против гитлеровских захватчиков.

Бугрaчев умолк и задумался, потом окинул повеселевшими глазами людей, низкий бревенчатый потолок землянки и распахнул полушубок:

— А ведь мы, товарищи, только начинаем жить. Впереди нас ждет такая прекрасная жизнь, о какой и не мечтал человек. Это про нас в песне поется: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»... — и вздохнул, сдерживая взлет собственной фантазии. — Да, товарищи, а сегодня главное — учиться бить фашиста и помнить: от дисциплины — шаг к победе... Ну, отдыхайте. Устроились вы тут, видно, неплохо.

И как только вышли из землянки Бугрaчев, Брагин и Кедров, — Матросов сказал дружкам:

— Видали? Вот это да! Настоящие фронтовики. Ну, прямо повезло нам, хлопцы.

В землянку быстро вошла маленькая, кругленькая сандружинница Валя Щепица. Белые пушистые пряди волос, выбившись из-под серой цигейковой шапки-ушанки, закрывали уши, обрамляя круглое лицо, пухлые румяные щеки с ямочками, сердито надутые толстые розовые губы. Валя казалась капризным холеным подростком в шинели; тем удивительнее было ее внезапное появление в этой землянке.

— Инфекции, или натертость ног, или еще какие заболевания есть? — строго спросила Валя.

Все молчали. Дарбадаев спросил:

— А чем лечить, товарищ доктор, тоску по дому?

— Риванолевая примочка к носу помогает, — так же строго сказала Валя. — Или горчичник на язык.

Все засмеялись. У Вали уголки губ лишь дрогнули.

— Объявляю: полковой медпункт — землянка под березой, — сказала Валя и вперевалочку вышла.

— Ну и девчонка! — покачал головой Костылев. — А заметили у нее медаль «За отвагу»? Ну и сестренка!

Бойцы переглянулись, и каждый вспомнил свою далекую семью.

Матросов, обрадованный, что узнал сегодня номер полевой почты своей части, предложил писать письма. Люди придвинулись к коптилке с тетрадями, блокнотами. Менялось выражение лица каждого пишущего, а думы уносились далеко, в разные концы страны, к самым близким, любимым.

«Я на пути к заветной цели», — с волнением писал Матросов Лине, названному братишке Тимоне и другим своим друзьям из Уфимской трудовой колонии. Глаза его лучились. Он доволен, что сбылась наконец его давняя мечта и он попал на фронт. Саша рассказывал им о своих первых фронтовых впечатлениях, о встречах с людьми, побывавшими в боях. Здесь он почувствовал еще бóльшую ответственность бойца, защитника страны, но сознание этой ответственности не тяготило, не пугало, а радовало его.

«Помнишь, Линуся, — писал Саша, — *как мы стояли на холме и, держась за руки, смотрели вокруг, и было нам так хорошо, и был кругом такой солнечный простор, что полететь хотелось? А сколько такого счастья у нас еще впереди! Только верь мне: всегда буду поступать так, как велит комсомольская совесть, как велит Родина».*

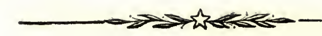
Антощенко, откинув голову к глинистой стене землянки, завистливо смотрел на счастливое, одухотворенное лицо Матросова и дрожащим голосом тихо пел:

Враг напал на нас, мы с Днепра ушли.
Смертный бой кипел, как гроза.
Ой, Днипро, Днипро, ты теперь далек,
И вода твоя — как слеза.

Матросов взглянул на Антощенко и понял его горе: ему некому писать, его семья в плену у фашистов. Матросов придвинулся к нему и, будто по ошибке перепутав слова песни, запел то место, где выражена уверенность в близкой победе:

Ворог воду пьет из твоих стремнин, —
Захлебнется он той водой.
Славный час настал, мы идем вперед
И увидимся вновь с тобой.





Глава XII

ФРОНТОВЫЕ БУДНИ

Тревога была объявлена ночью. Свет зажигать не разрешили. В землянке — непроглядная темень. Бойцы быстро наощупь ищут одежду, оружие, вещевые мешки. А снаружи уже слышится голос командира взвода Кораблева:

— Выходи строиться! Становись!

Голос старшины Кедрова, неузнаваемо-строгий, требовательный:

— А ну, живей! Кто там копается?

А Матросов никак не может разбудить Антощенко. Потом Антощенко спросонья по-детски трет кулаками глаза, не совсем еще понимая суровый смысл слова «тревога». Матросов злится на него, говорит, что последний раз нянчится с ним, а сам помогает дружку одеться. И выбегают они из землянки почти последними. Старшина вглядывается и укоризненно замечает:

— Хвосты тянешь, Матросов! Не ждал от тебя.

Упрек нестерпим, но Матросов молча становится в строй.

В темносерой мгле бушует вьюга, швыряет в лицо колючий снег, качает деревья. Кто-то говорит, что времени — четыре ноль-ноль. Командир роты Артюхов коротко объявляет боевую задачу: батальон идет на штурм укрепленной полосы противника, потом поведет бой в глубине его обороны; остальные распоряжения — на исходном рубеже.

Походная колонна идет с охранением, дозором, со всеми предосторожностями. И бойцы, поеживаясь от

холода, хорошенько не знают, продолжение ли это занятий по боевой подготовке или они идут в настоящий бой и в землянку больше не вернутся.

Так начался для новичков шестой фронтовой день.

Здесь каждый день был труден. Бригада находилась в резерве фронта, пополняясь людьми и вооружением, но командование старалось использовать каждый час для боевой учебы.

Это была пора долгожданного перелома в ходе войны. На всех фронтах наши войска наступали, и бои достигали всё большего напряжения. Уже была прорвана блокада Ленинграда и заканчивалась великая битва под Сталинградом. В любой час и бригада могла быть брошена в бой.

На занятия подразделения поднимали еще затемно, а иногда по тревоге и ночью. На тактических учениях, увязая по пояс в снегу или ползая на брюхе по незамерзшим болотам, бойцы штурмовали опорные пункты «противника», прорывали его оборону, наступали по открытой и лесисто-болотистой местности. Порой шинель обледенеет и в ней трудно поворачиваться, а надо еще долго бегать по лесу, по колючим кустарникам, прыгать через траншеи или болотные лужи, преодолевать проволочные и минные заграждения. Поздно вечером возвращались в землянки изнуренные, в мокрой и обледенелой одежде. Но коммунисты и комсомольцы шли еще на партийные и комсомольские собрания, потом выполняли партийные поручения и помогали в учебе отстающим.

Явно осрамились на этих занятиях некоторые дружки Матросова. В военно-пехотном училище Костылев и Дарбадаев вышли в отличники по стрельбе. А здесь вначале стреляли плохо. Костылев сам на себя злился: его искусные пальцы молниеносно отрабатывали на клавишах баяна самые замысловатые переборы, а во время стрельбы мерзли и были непослушны, как деревянные.

На исходном рубеже, в непосредственной близости от «противника», за несколько минут до штурма укрепленного пункта простуженный Макеев так отчаянно стал чихать и кашлять, что вызвал справедливые нарекания командиров.

— Потерпи, — просил его Матросов. — Грохаешь, как полковая пушка. Огонь «противника» вызовешь, всё дело погубишь.

Макеев, сдерживаясь, смешно кривил лицо, шапкой закрывал рот, но кашель был неукротим.

После преодоления болота и проволочного заграждения, во время решительных коротких перебежек Антощенко вдруг неуклюже пополз по глубокому снегу, подымая зад. Взводный Кораблев, возбужденный близостью рукопашного боя, раскрасневшийся, злобно зашипел:

— Кто там ползет, как черепаха?

Матросов оглянулся: так и есть, опять что-то неладное с горемычным его дружком.

— Беги и падай скорей, Петро! Чего, как баржа, плывешь?

— Ты не гырчи! — отозвался Антощенко. — Причина есть.

— Какая?

— Не скажу, — тихо, но сердито ответил Антощенко.

— У Антощенко, наверно, какой-нибудь пустяк, а вот у меня кашель, — с раздражением сказал Макеев. — И вообще не понимаю, — зачем здесь так много всяких занятий и даже политграмота?

— Тяжело на ученье — легче в бою, Макеша. А без политграмоты боец — как без души.

Во время трудных тактических занятий яснее раскрывались характеры людей. Матросов приметил: в минуты крайней усталости его друг Макеев делался еще более ворчливым, придирался к товарищам, но зато Воронов больше отшучивался и усмехался.

Понятнее становились и характеры командиров. Комбат Афанасьев — обычно молчаливый и хмурый человек — сразу преображался даже в этих учебных боях. Он становился задорен, горяч и красив в своей стремительной подвижности.

И сегодня, когда рота Артюхова залегла в ожидании сигнала к штурму укрепленного пункта, комбат сердито спросил:

— Ты что — чай с пирожным распиваешь, Артюхов? Почему не атакуешь?

— Сейчас, товарищ капитан, третий взвод ударит с фланга, а я в лоб ударю, — тихо, с невозмутимым спо-

койствием ответил Артюхов. Только дрогнувшая щека выдала его напряженное волнение.

Любитель обстоятельных бесед и задушевных песен, старшина Кедров «на службе» был суров и нещадно требователен, но говорил тихо, сдержанно, веско, отчего слова его были еще убедительнее. А командир второго взвода Дубин всегда кричал на подчиненных; его боялись, но не уважали. Матросову нравились твердость характера и выдержка Артюхова и Кедрова.

Трудно было не только новичкам из пополнения, но и опытным фронтовикам. Закаленный вояка старик Кедров как-то пошутил:

— Думали, в Земцы на отдых пришли, а тут не легче, чем на передовой. Да ничего не поделаешь, надо.

— Надо! — твердил Матросов, когда кто-нибудь из друзей жаловался на трудную учебу. — Вон старые фронтовики — и те учатся воевать, а нам и подавно надо.

Батальон вернулся с тактических учений, когда уже стемнело. Окоченевшие за день дружки Матросова рады, что вернулись опять в землянку, и, усталые, сразу все притихли, укладываясь на нарах. Только Воронов шутил, потирая руки:

— Тепло, не дует и уютнее, чем в хоромах.

— Язык, что овечий хвост, треплется, — ворчал Макеев. — Помолчал бы!

Матросова нет: забежал к заместителю комбата по политчасти капитану Климских за литературой.

Вчера после политзанятия замполит, посоветовавшись с комсоргом Брагиным, предложил Матросову: «Ты много читаешь, вот и разъясняй бойцам, кто чем интересуется, а мы тебе поможем».

Так у него появилось еще одно трудное, но интересное дело, за которое он принялся охотно. Кроме того, комсорг Брагин предложил ему выступить завтра на комсомольском собрании, к чему тоже надо подготовиться.

Вот он, откинув обледенелую палатку, заменяющую дверь, быстро вбежал в землянку, и вьюга, сыпнув снегом, ворвалась за ним. Язычок коптилки затрепетал и чуть не погас. Матросов стряхнул с одежды снег, потер у печурки озябшие руки, оглянулся по сторонам и уди-

вился: спать еще рано, а тут унылая тишина. Только ворчал Макеев, натягивая на голову шинель. Он сердился, что кто-то не на место положил вещевой мешок, кто-то зря шляется и холоду напустил.

— Почему тихо? — не вытерпел Матросов. — Братки, что приуныли? Орлы вы или мухи?

— Да и я про то говорю, — приподнялся Воронов.

— Так что же, по-твоему, нам здесь кадриль танцовать? — проворчал Макеев. — И так всё тело онемело.

— Тезка, — тронул его Матросов, — даже отдыхать нельзя с таким кислым настроением, как у тебя. Ты микробом скуки уже всех заразил. Скучать солдату не положено, — а?

Матросов, как и все, устал за эти дни, похудел, резче обозначились в межбровье две складки, потемнел пушок на верхней губе; обветренное лицо побурело, весь он возмужал, повзрослел. Но попрежнему он весел, шутлив. И хоть он и старался быть степенным, порой прорывалась у него мальчишечья резвость. И теперь он весело тряхнул головой, блеснув озорными глазами, повелительно кивнул Костылеву:

— Играй «Калинку», Паша!

Костылев заиграл на баяне, Матросов запел «Калинку-малинку» и пошел по кругу, подрагивая плечами и хлопая в ладоши. Схватился и подтянул Воронов; не вытерпев, запел и Антощенко. Через минуту землянка ожила. Весело стало всем. Нерешительно ухмылялся даже Макеев.

Эта землянка была самая веселая. Сюда вечерами собирались любители попеть, поговорить. Пришли в этот вечер «душа коллектива» Брагин, сандружинница Валя Щепица и старшина Кедров.

Валя, как всегда, пришла «по делу». Стряхнув снег с золотистых кудрявых волос, она у входа строго спросила:

— Инфекции, натертости, заболевания есть?

Все хором ответили «есть» и пригласили девушку к печке погреться. Только Антощенко поерзал на месте, видно, всерьез хотел пожаловаться Вале на что-то, но, оглянувшись по сторонам, смолчал.

— Да у вас тут точно клуб, — снисходительно улыбнулась она, и щеки ее зарумянились.

Бойцы улыбнулись, раздвигаясь, чтоб освободить ей место. И светлее будто стало в землянке.

Костылев, покраснев, отчаянно тряхнул чубом и с готовностью спросил:

— Какую, Валя, играть? Не стесняйся, буду хоть до утра.

— Про соловейку и вишневый садочек знаете?

Все с огорчением сознались, что не знают.

— Ну, вот эту... — Валя на минуту задумалась, вспоминая далекую свою Кочубеевку на Полтавщине, и тихонько начала песню о вишневом садочке, где соловейко зорями поет.

Все стали сразу разучивать эту песню. Вошел Кедров, прислушался, расправляя заиндевевшие усы. Потом он предложил спеть давние революционные песни и начал хриплым, но душевным баском про колодников и путь сибирский дальний.

Матросову нравится песня, он подпевает, с сочувствием поглядывая на Кедрова, у которого вздрагивают усы: видно, отца-ссыльного старик вспоминает. Когда песня кончилась, Матросов и Брагин стали просить старшину еще петь.

Но старшина, взволнованный тем, что песня его всем понравилась, молодо встал и, уходя, решительно сказал:

— Спать, спать! Солдатская ночь — птичья.

Уходит и Валя.

Матросов спохватился: ему обязательно сегодня надо прочесть брошюру. Все укладываются спать, а он склоняется у коптилки над брошюрой и блокнотом, на открытой странице которого уже записано:

«Я верю в бессмертие честных людей». Горький. «Мать».

Потом быстро записал слышанные днем от Брагина слова Маяковского:

«Быть комсомольцем — значит, дерзать, сметь, уметь, хотеть».

Он раскрыл брошюру, но к нему придвинулся Антошенко и таинственно зашептал:

— Сашко, не серчай, посоветуй мне... Видишь ты, какая закорючка... Я на тактике тебе не сказал, а теперь и сам не знаю, как быть. Кожу на ноге дуже со-

драл я, когда преодолевали заграждение. А сандружиннице сказать боюсь, — в санбат отправит.

— Покажи.

Антощенко нехотя показал: нога ниже колена распорота колючей проволокой, одежда окровавлена.

— Надо Вале сказать. Пусть перевяжет.

— Не хочу. Попаду в санбат, да еще отчислят. Хлопцев потеряю.

Матросов перевязывает ему ногу, а он всё просит:

— Ты никому ж не говори про це. Чуешь? Будь другом, не говори. Обещаю: как на цуцыке, засохнет. И на занятиях не отстану.

Успокоенный, он отползает и сразу засыпает.

Через пять минут, кажется, спят все. Матросов, радуясь тишине, сосредоточенно читает. Теперь лицо его сурово, и он выглядит старше своих лет. Он не замечает, как, накинув шинель на плечи, подсаживается к нему Михась Белевич.

— Не спится что-то! — шепчет он. — При людях не хочется говорить — настроение им портить. А тебе всетаки скажу. На Полесье семья моя у фашистов — отец, мать и жена с дитём. А може, и нема уже никого живого. Замучили. Вот я и думаю, а что як бы написать так: «Москва, Беларусь, Калинковичи» и дальше по порядку. Дойдет письмо? — и замер, насторожась.

Матросов смущен: такой рослый, плечистый человек советуется с ним, безусым пареньком. Он хмурится, думает и уверенно говорит:

— Думаю, через Москву куда хочешь дойдет. Наши партизаны везде. Из Москвы перешлют к партизанам, а те доставят.

— Ой, — облегченно вздыхает Белевич, — як бы так и сбылось! Все-таки ж ты молодец! Ну, напиши адрес. У тебя почерк ясней.

Скоро уснул и Белевич, похрапывая. Уснул с отрадной надеждой, что Москва во всяком деле поможет.

Матросов опять склоняется над брошюрой и блокнотом. Колеблется от дыхания оранжевый язычок коптилки. У землянки поскрипывает от ветра старая ель. Сдвинув брови, он торопливо пишет: «Гитлер говорит, что немцы должны завоевать весь мир, и хочет в первую очередь истребить славянские народы. Гитлеровцы уже

истребили миллионы людей. Советский Союз объединяет семьдесят национальностей и народностей, скрепленных такой любовью и дружбой, какой не было на свете. И трудовые люди всего мира с надеждой глядят на нас. Гитлеровские генералы учат своих солдат: «Уничтожь в себе жалость и сострадание — убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик!..» А днепровский колхозник дед Макар говорил мне: «Жить надо так, чтоб людям легче было оттого, что ты живешь. Совесть — глаз народа. Служи народу по совести». Какая красивая душа у нашего человека! Какая черная, звериная душа у фашистского мракобеса!»

В ночной тиши шумит ветер над землянкой. Стонет седая обомшелая ель. Друзья спят, а ему спать не хочется. Да, хорошо, что он теперь в кругу отважных, испытанных людей, но ему еще во многом надо подтянуться, чтоб быть достойным их. По стрельбе обгоняют его Белевич и Антощенко, а Воронов гораздо лучше его отвечает на политзанятиях. Но ему просто везет: у него много друзей, и каждый охотно во всем поможет ему.

★

На комсомольском собрании он не воспользовался ночными своими записями. Его увлекли волнующие выступления других комсомольцев. После доклада комсорга Брагина о дисциплине сразу же заговорили о содержании оружия, о выполнении приказов и поведении в бою. Комсомольцы приводили примеры, взятые из быта их подразделений, называя лучших и худших бойцов. И Матросов решил, что тут все уже продумали, прочувствовали и знают то, что он с такой ясностью впервые понял и записал ночью, что ему полезнее послушать других.

— Я предлагаю привлечь к ответственности комсомольца Суслова за недостойное поведение в бою, — сказал вдруг боец Щеглов, коренастый, крепкий, покрасневший от возмущения.

Собрание насторожилось. Щеглов стоял в левом заднем углу большой землянки, именуемой клубом, и все обернулись к нему. Капитан Буграчев только что хвалил бойцов — Щеглова, подбившего два немецких танка

в бою под городом Белым, и Суслова, раненного на том же рубеже. Похвалил именно за то, что они оба хорошо выполнили свой долг, отбив контратаку целой роты фашистов, и этим дали возможность ему, Бугр,ачеву, заменявшему тогда комбата, решительно ударить по врагам с фланга и опрокинуть их.

Суслов только сегодня утром вернулся из госпиталя. В штабе батальона он весело заявил: «Ну, теперь я дома!» Рассказал, с каким трудом ему удалось выпроситься в свою часть. И здесь, до начала собрания, сияющий Суслов всем знакомым и незнакомым крепко пожимал руки, довольный, что снова вернулся в свою боевую семью. Теперь он, потрясенный обвинением Щеглова, растерянно смотрел по сторонам, еще не совсем понимая, в чем его обвиняют, но уже страшась слов: «недостойное поведение в бою».

— В самую горячую минуту, — продолжал Щеглов, — когда к нам подходил фашистский танк, Суслов метнулся по ходу сообщения назад и был ранен. Почему комсомолец Суслов показал врагу спину?

Бойцам нравился Суслов, тоненький, как былинка, веселый паренек, и никому не хотелось видеть в нем преступника, труса.

— А ты почему до сих пор молчал? — спросили Щеглова.

— Я привык говорить правду в глаза, — обиделся Щеглов. — Чего ж я зря говорил бы, если он был где-то в госпитале, да, может, и не живой уже.

Дело серьезное; люди повернули гневные лица к Суслову.

— Чего притаился? Говори, Суслов!

Суслов поднял руку:

— Товарищ председатель, разрешите... Товарищи, да мне страшней боя и смерти слышать такие слова. — Голос его дрожит. — Патронов у меня не стало, и последнюю гранату бросил. Я и метнулся за гранатами, вспомнил, что они на дне окопа в уголке сложены. Но тут меня ударило в плечо, и я упал.

Его прервали:

— Сзади и ударило? Значит, спиной к танку был?

— А почему у меня гранату не взял? — спросил Щеглов.

— Ну, может, с испугу не сообразил, — искренне сказал Суслов.

— Известно, не обстрелян был! — снисходительно крикнул кто-то.

— С испугу! А мне, думаешь, не страшно было? — уже мягче сказал Щеглов. — Главное, один танк подбил, другой соседи подбили, а третий прет прямо на меня, а я попасть в него не могу. А тут Перепелкину осколком голову снесло, Сысоев упал, и ты метнулся. Жарко мне было так, что пятки горели, да пересилил себя, ловчей прицелился и подбил.

— А как это патронов не стало? — опять спросили Суслова из задних рядов.

— И почему раненый ушел, раз так трудно было на рубеже? Может, не тяжело был ранен и еще помог бы?

— Честное комсомольское, товарищи, — сказал Суслов, и полные слез глаза его заблестели. — Я вообще не думал тогда уходить, а кинулся за гранатами и раненый не ушел, а потерял сознание, и меня санитары вынесли.

— А чем докажешь?

Председатель поднял руку.

— Спокойнее, товарищи, больше порядка!

Матросов, Костылев и Антощенко сидят в задних рядах, слушают. В словах и понятиях фронтовиков много поучительного. Бойцы и командиры рассуждают здесь о смерти в бою, как о чем-то совершенно простом и естественном.

И о страхе говорят так, что его можно вполне преодолеть. Боятся и теряются в бою чаще всего необстрелянные новички, над которыми потом подшучивают товарищи. В бою страшно, конечно, всем, но настоящий боец подавляет, преодолевает страх, потому что страх помрачает разум, сковывает волю, силу, ведет к гибели. А самое главное — умело, точно, с честью выполнить боевой приказ. Поэтому всех так взволновало дело Суслова.

— Ответственно быть комсомольцем, — говорит Матросов. — Скорей бы в бой, что ли! Проверить себя.

Костылев и Антощенко, переглянувшись, усмехнулись. Известно: Матросову всегда хочется поскорее всё узнать, всё изведать.

— Успеешь, Саша, повоевать. За тем и приехали сюда.

Буграчев предложил отложить дело Суслова для доследования.

— Зачем же откладывать? — взмолился Суслов. — Как же я товарищам в глаза смотреть буду с таким обвинением? Я прошу сейчас же вызвать самого Козлова, санитара.

Собрание решило вызвать Козлова.

Огромный рыжебородый Козлов уже спал в теплой землянке и, когда его будили, долго не мог понять, зачем его вызывают. На собрание он спросонья пришел злой и, узнав, кто обвиняет Суслова, накинулся на Щеглова:

— Да ты что — очумел? — говорил он и теребил свою огненную бороду. — Зачем на парня напраслину возводишь? Ты, значит, и не видел, как я раненого Суслова под кромешным огнем утащил?

— Не до бороды твоей там было, — смущенно отозвался Щеглов.

— То-то и оно-то, не видел, а зря говоришь!

— А я видел, как он метнулся назад.

— Метнулся! Он бы кровью изошел, кабы не я.

В землянку вошли замполит Климских и парторг батальона Корнев. С улыбками они подошли к столу президиума, что-то тихо сказали Буграчеву и Брагину; те сразу от изумления широко открыли глаза и тоже стали улыбаться. Люди выжидающе устремили глаза на президиум, чувствуя, что замполит и парторг говорят там о чем-то очень важном и хорошем. И Козлова уже не слушали. Главное он уже сказал: Суслов не виновен.

Потом Климских шагнул вперед и, волнуясь, сказал:

— Товарищи, разрешите сообщить вам великую радость. По радио передали приказ Верховного Главнокомандующего товарища Сталина об окончательном разгроме окруженных под Сталинградом вражеских войск. — От волнения и недавней контузии глаз у него часто замигал.

Все, как по команде, разом встали, и от громких рукоплесканий и возгласов, казалось, раздвинется над головами промерзшая насыпь землянки.

Замполит сказал, сколько тысяч солдат и офицеров из огромной отборной гитлеровской армии под Сталинградом убито, взято в плен, какие захвачены трофеи, и закончил:

— Трудно было нам в сорок первом, когда вооруженный до зубов и уже опрокинувший с десяток государств враг внезапно кинулся на нас и дошел до Москвы, до Ленинграда, потом до Сталинграда. Но фашистский зверь сломал себе зубы. Устояли мы. Устояли и теперь бьем и добьем врага, обязательно добьем, потому что нас вела и ведет партия большевиков — ум, честь и совесть народа.

— Ум, честь и совесть народа, — повторил Матросов, постигая удивительный смысл этих слов.

И вот он уже опять насторожился. Заговорил его любимец Буграчев:

— Да, устояли, а теперь начинаем окончательное изгнание и разгром самого сильного, самого коварного и жестокого врага, какого еще не знал наш народ. — Буграчев говорил тихо, но слова его тяжелы, как металл, и в суровом взгляде — ледяной блеск. — Почернела от руин и пепла наша земля, где прошел враг. Но не опустил руки советский народ. Он выковал новое оружие, и вот мы ударили под Сталинградом. Фашистам теперь уже не очухаться. А мы только еще плечи свои разворачиваем, и сила наша народная неисчерпаема. Много впереди трудных боев, но наша, только наша армия спасет мир от фашистского рабства.

Матросов слушал и всю ночь готов был слушать страстную речь Буграчева. А после собрания сразу же подошел к нему:

— Товарищ капитан, когда же мы? Везде наши наступают, а мы зря кашу едим.

— Когда прикажут. Надо так подготовиться, выверить себя, чтобы бить наверняка.

Когда возвращались с собрания, Матросову так было хорошо от ясности душевной, что он затеял игру в снежки, забрасывая дружков комьями снега и ловко увертываясь от попаданий. За ним побежал даже Антощенко, забыв про больную ногу, но тут же остановился, почувствовав острую боль.

После радостного сообщения о победе под Сталинградом занятия стали еще более напряженными.

Вскоре был проведен строевой смотр. Неплох был результат короткой, но трудной учебы. Пополнение неразличимо слилось с колоннами фронтовиков. И когда стройные шеренги бойцов шагали перед командованием бригады, Матросов уловил довольную улыбку седого генерала. Потом он говорил друзьям:

— Хорошо, когда начальник улыбается. Увидел я, как генерал улыбнулся, и, чувствую, сами ноги еще крепче шаг припечатывают. Командир доволен, и тебе хочется еще лучше сделать. Ну, братки, теперь скоро.

— Та вже ж скоро, — усмехнулся Антощенко.

— Скорей бы! — потер руки Дарбадаев.

Через день бойцам выдали на руки патроны, гранаты, продовольственный «неприкосновенный запас», и бригада выступила в поход.





Глава XIII

НА МАРШЕ

Бригада шла форсированным маршем выполнять важное задание командования. Уже гремели наши наступательные бои на всех фронтах от Баренцова до Черного моря. Разбитые под Ленинградом, Сталинградом, на Дону и на Кавказе гитлеровцы отчаянно цеплялись за новые рубежи, пытаясь удержаться, но всё шире развертывалось массовое изгнание их из пределов страны. Развивались решительные бои и на Калининском фронте.

После малой передышки бригада теперь должна была быстро проделать двухсоткилометровый марш, имея общее направление на город Торопец и потом населенные пункты — Стрельцы, Демидово, Клюково, Шилово и Михаи, на реке Ловать, севернее Великих Лук, где предполагался пункт сосредоточения бригады. Потом бригаде предстояло быстро развернуть наступление в районе города Локня, выйти на линию железной дороги Локня — Насва и перехватить эту важную магистраль.

Бойцы идут с полной боевой выкладкой, обвешанные автоматными дисками, гранатами, тяжелыми подсумками, вещевыми мешками, набитыми продовольствием и прочим походным солдатским имуществом. Идут днями и ночами уже третьи сутки и не знают, далеко ли еще итти. Чем дальше, тем хуже дороги: в сугробах всё чаще застревают машины, и растет ноша на плечах бойцов. Всё больше вводится предосторожностей. Ночью идет по

цепи предупреждение: «Не курить!», «Громко не говорить!»

Была только одна дневка, редки были даже привалы. Стремительность марша решала успех ответственной боевой операции. Да и отрываться от снега после привала и продолжать путь переутомленным людям словно еще труднее.

Матросов шагает с ротой автоматчиков впереди колонны. Автоматчики первыми и протаптывают дорогу, часто увязая по колено в снегу.

Утро морозное, румяное, звонкое. На рассвете, когда переходили реку Торопу и сворачивали с Великолукской дороги на север, Матросов, глядя на Полярную звезду, почувствовал во всем ноющем теле такую усталость и так неодолимо хотел спать, что боялся уснуть на ходу и упасть. И когда он сказал об этом Петру Антощенко, тот, видно тоже до предела уставший, не ответил, а только мотнул головой и механически продолжал шагать дальше, похрамывая и клюя носом.

Но утро такое хорошее, что спать Матросову уже не хочется, даже забыта усталость. Справа, за рекой Торопой, сначала вспыхнула багряная заря, и сквозь запушенные снегом деревья заблестело, как начищенная медь, вытянувшееся по горизонту облако. Потом малиново-золотистое пламя от восходящего солнца брызнуло и залило весь заснеженный лес, и синие тени внизу на снегу стали голубыми.

Матросов повеселел. Он умел настраивать себя на хороший лад даже в минуты грусти, но теперь хорошее настроение пришло само собой. У каждого человека всегда должна быть хоть малая радость, если уметь находить ее. Матросов богат радостями. Хорошо, что нескончаемо тянутся леса, и тут он узнает много неведомого о звере, птице, о растениях. Хорошо, что сбывается его мечта, и он идет на фронт, к заветной цели. Его волнуют и облепленные чистейшим снегом, пронизанные солнцем темнозеленые сосны, ели и повисшие длинные ветви берез, запушенные инеем и вспыхивающие на солнце сверкающими искрами, и всё снежное торжественное убранство леса, и сияющая вокруг, слепящая чистота.

Старшина Кедров обгоняет его и подмигивает.

— Ишь, лес какой!

— Ой, до чего ж хорошо, товарищ старшина!

— Хорошо? — замедлил шаг Кедров. — Я вот, знаешь, приглядывался к людям, и сдается мне: кто красоту примечает и любит, и душа у того красивей. Ну, а студеный цвет знаешь?

— Нет. Какой это?

— Да вот лес белый, будто сад в цвету. Это и есть студеный цвет.

— Вот говорят еще: «плакучая береза». А она совсем не плакучая, а веселая. Глядите, товарищ старшина, — как девушка с распущенными косами! А весной, когда в сережках, просто не наглядишься. Как там у Некрасова: «белая березонька с зеленою косой». Хорошо!

Кедров понимающе усмехнулся и быстро зашагал по обочине в голову колонны. Матросов хотел спросить его, почему он так торопится, скоро ли привал или дневка, и постеснялся: без него много разных хлопот у старшины. Матросову хочется продолжить разговор, хочется, чтобы все почувствовали красоту этого лесного утра и чтобы у всех на душе было так же хорошо, как у него.

— Петро, гляди, как здо̀рово кругом.

— Та вже ж.

— Смотри, вон-вон снежок розоватый как от солнца играет на ветках.

Хмурый Антощенко молча кивает головой. Ему не до красот. Рана на ноге растерта, кажется, до кости. Итти мучительно-больно. Но даже другу не хотел он пожаловаться.

— Думаю, рушник, що Леся вышивала, выкинуть, — сказал он. — Хочешь, возьми.

А Костылев предложил Матросову флакон одеколона, что купил еще в Краснохолмске.

— Не возьмешь, — выброшу. Иголка будто пуд весит.

— Да что это вы, хлопцы? — удивился Матросов.

— А что? — обиделся Костылев. — Казенное нельзя, а свое личное можно и бросить.

Матросов понял: совсем, значит, устали дружки, раз Антощенко решается лишиться такой дорогой памяти, как Лесино полотенце, а франт Костылев — одеколона. А вчера утром возник спор из-за баяна. Одному Костылеву нести его было трудно. Матросов предложил нести



его по очереди. Макеев советовал бросить баян: «Сухари даже нести трудно», — говорил он.

Матросов воспротивился: «А я скорее сухари оставлю, чем баян». Все-таки решили нести баян по очереди. Его чаще других несли Дарбадаев, Матросов и Воронов. И теперь Матросов взял у Антощенко вещевой мешок и вскинул за спину, а у Костылева взял одеколон.

— Ладно, свой магазин «тэжэ» открою.

— Еще и шутишь, — грустно усмехнулся Костылев, завистливо косясь на Матросова. — И где только силы берешь?

— В земле, тезка, в земле сила.

Они замолчали. У Матросова всё не сходит с лица изумленная улыбка и на душе так же чисто, как сейчас в этом снежном лесу. Он шагает молча, смотрит по сторонам и в это ясное предбоевое утро думает о прожитом. Было в его жизни много хорошего и много такого ненужного, о чем не хотелось и вспоминать. И самому дивно: ничто не помешало ему так самозабвенно любить этот сказочно-разнообразный мир.

Следы войны встречаются всё чаще. Иссеченные осколками деревья, заброшенные и засыпанные снегом блиндажи, окопы, шалаши из веток, разрушенные и сожженные лесные деревушки. Вон висит полусрезанная

осколком снаряда крона березы, склонив до земли заснеженные кудри.

Но вот уже с полчаса колонна идет лесом. Над узкой заваленной снегом дорогой местами сплетаются ветви высоких деревьев и закрывают небо.

Вдруг люди оживились. От головы колонны и назад по всей длинной цепи идущих полетел приказ:

— Командиров рот — в голову колонны!

Командиры рот, увязая в нетоптанном снегу, по обочине обгоняют колонну. Бойцы, идущие по четыре в ряду по протоптанной уже дороге, сочувственно смотрят на командиров и связных, которых часто вызывают в голову колонны.

Через несколько минут командиры рот стоят на обочине, пропуская мимо идущих: каждый ждет свою роту.

Вскоре был объявлен привал. Колонна, растянувшись вдоль дороги по опушке леса, расположилась на отдых. Люди шутят над своей усталостью и тут же валятся на мягкий снег.

— Вот это перина, Антошка! — усмехается Матросов, вытягиваясь на снегу. — Даже твоя жена такую не постелет.

Антощенко, скрывая боль ноги, хочет казаться веселым.

— Та вже ж. И тебе, Сашко, так мягко дома спать не приходилось!

— Ноги тяжелые, как чугунные, — говорит Костылев.

Беспокойный Матросов не унимается, озорно подмигивает:

— Мишка, тезка, друзья-солдаты, идите до гурта, закурим. Хата моя — табак ваш.

— Хитрый, свой табачок бережешь! — отозвался Дарбадаев.

К Матросову подходят: Дарбадаев, Воронов, Белевич, Макеев. С этим веселым и разбитным пареньком легче дышится, лучше отдыхается. Он хорошо знает, как вести себя на марше, когда и сколько пить воды, как лучше обертывать портянками ноги, как на привале надо ложиться, чтобы лучше отдохнуть.

— Прошу до хаты, — приглашает Матросов гостей, кивнув на свой вещевой мешок, висящий на сучке ели, а сам, подтянув рукава шинели и ватника, быстро умы-

вается снегом. — Уж извините, с туалетом опоздал немного. — Вытащил из вещевого мешка аккуратно сложенное полотенце, вытерся и, надев варежки, хлопает ими, согреваясь. Потом он подошел к Костылеву, лежащему на снегу. Посоветовал повыше положить отекшие ноги, незаметно сунул ему флакон с одеколоном. Костылев удивился:

— Я ж насовсем тебе отдал. Всё равно выбросил бы.

— Я без него красив, — пошутил Матросов.

— Да, может, опять его бросать придется.

— А ты лучше Вале подари.

— И верно, — повеселел Костылев. — Только бы пришла. Ох, и друг же ты, Сашка! .. Ну, дай водички попить: в горле пересохло, а моя вода во фляге замерзла.

— А воды не дам сейчас.

— Да жаль тебе, что ли?

— Не жаль, а не дам. Чайку — можно, а холодную сейчас вредно: разгоряченный и лежишь на снегу. На марше можно пить холодную только перед подъемом.

— Ишь, старик, всё знаешь, — смеется Дарбадаев, разминая ноги и встряхивая открытой потной головой, от которой валит пар.

— Да всем же объясняли, — оправдывается Матросов. — А ты, Михаил, не храбрись, хоть и сильный. Надень шапку.

— Да мне жарко, чудак. Голову в снег сунул бы.

— Вот потому и надень.

Дарбадаев надел шапку.

— А за это вот тебе хороший табачок, — смеется Матросов.

Закурив, друзья раскидываются на снегу, вытягивают затекшие ноги. Но сразу же началась бойкая бивуачная жизнь. Люди еще издали увидели вьющийся вверх синий дымок походной кухни и оживились.

— Думали, она, матка, в сугробе завязла, а она следует. Любит солдата.

Завтракали вместе, усевшись в круг.

— Ну, и кулеш добрый! — щурится от удовольствия Антощенко, хлебая из котелка густой жирный суп из пшенного концентрата и мясных консервов. — Сроду не ел такого.

— И хлеб, как пирожное, тает во рту, — говорит Матросов, грызя мерзлый хлеб, потом опускает его в дымящийся пахучий суп.

— Ну и пир, братки! Честное слово, обеда вкусней этого я не едал.

— Пройдешь двести километров, так и обгорелое полено копченой колбасой покажется, — хмуро ворчит Макеев и с беспокойством озирается. — А кто, ребята, угадает, далеко ли еще шагать?

— Далеко ли? — усмехнулся Дарбадаев. — У нас в Башкирии так говорят: «Хороший конь — до деревни семь километров, а плохой — семьдесят семь». Понял, Макеша?

— Молчи, заноза! — сердито проговорил Макеев. — Не до смеху тут.

— Ну заплачь, — посоветовал Воронов.

— Сосочку ему с молочком, — предложил Костылев.

— Идите вы все к шуту! — вспылил Макеев.

Матросов пытливо вглядывается в лица друзей. Ему раньше говорили, потом он и сам приметил: в трудностях слабодушные люди быстро меняются, любят пожаловаться, хнычут, ворчат, а люди, сильные духом, всегда владеют собой, сдерживают, свою нервозность, как бы трудно им ни было. Нытик может испортить настроение и у товарищей, а человек стойкий улучшит его. Но стойким и слабый может стать, если поймет свой недостаток и твердо решит его исправить. Макеева недолюбливали за его сварливость. Он это чувствовал и, мнительный, обижался из-за каждого пустяка. Матросов добродушно подмигнул ему:

— Слушай, Макеша! Геройский ты с виду парень, а всё ежишься, прибедняешься. Постой, я тебя, ледяного, чайком согрею. Братки, уж пировать так пировать! Набивай котелки снегом.

Он быстро нашел в кустах сушняк, вытоптал в снегу местечко и разложил костер.

Сидя на корточках, Матросов шевелил горящие веточки и щурился от едкого дыма. Потом протянул Макееву кисет с табаком:

— Закуривай, Макеша. Не дуйся, как сыч.

— У всякого бывает плохое настроение, — смущенно

кряхтел Макеев, скручивая цыгарку. — И ноги вон одеревянели, и писем всё нет; может, и не будет.

— Настроение, говоришь? Слушайся только настроения, — оно тебя в болото заведет. Я сам настроение настраиваю, как хочу.

— Это верно, — сказал Воронов. — Регулировать настроение можно.

Они пили чай и спорили. Одни доказывали, что человек может не только настроение, но и характер свой вырабатывать, другие возражали.

Послышался строгий выкрик старшины:

— Эй, Суслов, чего шапку снял? И на снегу потный не лежи. Перегрелся — походи тихонько, потом и отдыхай.

У Кедрова лицо озабоченное, осунувшееся. Матросов пригласил его:

— Товарищ старшина, чайку попейте с нами. Уже закипает. И табачок есть хороший. Споем вам что-нибудь.

— Спасибо, некогда, — ответил тот, проходя мимо, значительно добавив: — Пока запрету нет, курите и пойте. А скоро и нельзя будет.

Матросов поспешил воспользоваться пока еще доступным счастьем и, спиной откинувшись к стволу сосны, тихо запел:

Ах ты, степь широкая...

Песню сразу же подхватили Антощенко, Воронов, Дарбадаев. И высоко взвился страстный тенорок Матросова:

Степь раздольная,
Широко ты, матушка,
Протянулася.

Не вытерпел и Костылев: поднялся, взял баян и стал наигрывать.

Подошли комсорг Брагин и комвзвода Кораблев и, стараясь не отвлекать поющих, тихо подсели к костру и тоже запели.

Матросов самозабвенно пел о степи, глядя куда-то на верхушки сосен, будто за ними и открывалась эта степь раздольная, как его чувство свободы и молодости.

Пел и думал о Лине. Так всегда: волнующая музыка, песня, всё прекрасное напоминало о ней.

Широкая, как степь, как вешняя Волга, лилась песня.

Сандружинница Валя Щепица, чтоб не помешать певцам, поодаль прильнула к корявой ели и заслушалась.

В голове колонны, слушая песню, привстали командиры: Афанасьев, Климских, Артюхов и Кедров, дивясь неуемной солдатской силе.

— Мои автоматчики поют,— гордо усмехнулся Артюхов. — Матросов запевает. Мои орлы.

— Ишь, соловей залился! — подкручивая седые усы, подмигнул Кедров, когда тенорок Матросова зазвенел на высокой ноте.

Прислушиваясь, подняли головы бойцы во всей колонне, растянувшейся по опушке леса вдоль дороги. И в самом конце колонны бойцы третьего батальона узнали:

— Автоматчики поют. Голос Матросова.

А песня летит всё шире.

И когда замерли последние звуки песни, автоматчики, еще переживая ее очарование, переглянулись. Воронов заметил необычный блеск на влажных глазах Матросова.

— Сашок, что с тобой?

— Да ну тебя, тезка! — смутился тот и, рукавом шинели коснувшись глаз, просиял. — Ой, хорошо! Ну до чего ж хорошо! Поешь и будто видишь Родину — поля, леса, реки! Березку у плетня и моря, и горы. Песня — сила. Жизнь и душу украшает. Ох, и люблю песни!

Антощенко вздохнул:

— И Леся моя так хорошо спивает, — аж сердце млие.

Вдруг друзья умолкли, насторожились: послышался плач ребенка. Это было совсем неожиданно в этих лесных дебрях.

★

Матросов быстро встал и пошел в лес, откуда слышался детский плач. За густым ольшаником поодаль на поляне он увидел женщину с детьми. Закутанная в тряпье, она сидела на груде битого кирпича у черной от копоти трубы, оставшейся от сгоревшей избы. Трудно



было определить ее возраст. Она худа, скулы, обтянутые сине-желтой кожей, торчали у нее, как у скелета. Прижимая грудного ребенка, она совала ему в рот искусанную тощую, как тряпица, грудь. Такая же изможденная девочка лет четырех жалась к колену матери.

— Здравствуйте, мамаша! — сказал Матросов.

Женщина подняла на него суровые синие глаза и хрипло ответила:

— Здравствуй, сынок... Хлеба...

Ей, видно, трудно говорить. Пообещав быстро вернуться, Матросов побежал за вещевым мешком. Он скоро снова пришел на поляну, вынул из мешка завернутый в газетку кусок хлеба и протянул женщине. Она

приняла его дрожащей рукой. Девочка сразу же схватилась за руку, жадно глядя на хлеб.

— Вот еще сахар, — подал Матросов сверток. В мешке рука его нащупала банку консервов. Он быстро вытащил банку, вскрыл большим ножом и протянул женщине. И теперь, жуя и глотая, она начала говорить медленно и деловито:

— С дитем бедую. Молоко в груди присохло. Да теперь мы дома, — кивнула она на пепелище. — Это наша вот деревня Замошье. Слыхал? А мы из-под немца, видишь, сегодня пришли сюда.

Матросов разглядел засыпанное снежком пожарище на месте прежней деревни. Торчали из развалин черные трубы, обгорелые деревья, валялись обломки домашней утвари.

Подошел Дарбадаев.

— Ты что тут, Саша?

— Да вот, видишь, мамаша домой вернулась и бедует.

Не вытерпел и, хромая, приковылял Антощенко.

— Теперь бы мужа дождаться, — оживилась женщина. — Только не отпустят, — замучают проклятые. Они спалили деревню и погнали нас в Германию, когда уже наши подходили. У меня, видите, эти маленькие. Как итти? Ихний обер-унтер долговязый сердито бубнит и прикладом автомата по спине меня бьет. Потом наши пушки начали стрелять. Немец, видно с испугу, погнал нас еще скорее. Я упала; он столкнул меня сапогом в канаву, стрельнул, да мимо. Троша, муж мой, схватил немца за руку, а немец ударил его автоматом по голове, погрозился застрелить и погнал, погнал... Может, вы, родненькие наши, догоните их и освободите наших, а? — говорила она, точно это было так же просто, как срубить дерево.

Матросов пристально смотрит на женщину. Она сует жеванку в ищущий рот ребенка и, видно, радуясь, что она теперь дома, среди своих и ее кормят, говорит охотно. Она указала на молодой сосновый борок, раскинувшийся по холму в конце поляны:

— В песке там зарыто девятнадцать душ из нашей деревни. Отказались итти в Германию. Старшим эсэсовцы проволокой руки скрутили и погнали, а детишки сами

побежали за родителями, — так их всех и расстреляли. Да перед смертью иных долго мучили, выпытывали, где партизаны.

И она говорит о замученных, повешенных, заживо закопанных или на кострах сожженных однодеревенцах и людях окрестных деревень, называя мучеников по именам.

— Смерть люди принимали, а не сдавались. Мы вас так ждали, так ждали! .. Прошлой зимой ходила тут по деревням девушка-провозвестница...

— Какая провозвестница? — насторожился Матросов.

— Так люди прозвали комсомолку Лизу Чайкину.

— И у вас она была? — взволновался Матросов. — Вы ее видели?

— Да как же! Мы и от немцев ее прятали.

— Что же она говорила?

— Она всю правду говорила народу. Сталинское слово приносила. «Не покоряйтесь, — говорит, — врагу. Бейте, как можете. Скоро наши придут, скоро победа. Так сказал товарищ Сталин, а его слово — нерушимое». И люди шли в партизаны. Только с малыми детишками оставались. Фашисты лютовали и дотла сжигали целые деревни. Люди терпели, верили, ждали. А когда эсэсовцы мучили ее, чтоб сказала про партизан и про Красную Армию, она им только и ответила: «На свете нет таких мук, каких не стерпит советский человек, а совесть свою не продаст». А потом уже голубка молчала, как ни мучили ее. Только когда на расстрел привели и, чтоб запугать ее, стали так стрелять, что пули над самой головой в стенку били, Лизонька крикнула, голубка: «Да здравствует Сталин!» Тут фашисты совсем озверели и ударили ей прямо в сердце.

Матросов, закусив губу, молчал. Потом тихо спросил:

— Еще что про нее знаете?

— А еще люди про нее такое сказывали, — продолжала, вздохнув, женщина. — Когда девочка вступала в комсомол, сказала матери: «Для народа жить хочу». И такой будто привиделся матери сон: стали советоваться меж собой небо, земля, солнце и самый умный на свете человек — Ленин, как наградить девочку за ее любовь к людям. Небо и говорит: «Я ей дам синие-синие и глу-

бокие глаза, такие же, как я». А земля говорит: «Урожаем жив человек. Я дарю ей волосы золотые, как венок из спелых колосьев». А солнце говорит: «Я согрею сердце ее так, что оно никогда не остынет». Тогда сказал Ленин: «А я такой правдой закалю ей сердце, что никогда и никто на свете не испугает ее». Она, видишь, такая и была: и глаза синие, и волосы золотые, и сердце горячее, и бесстрашная...

На поляну из-за кустов вышла еще группа беженцев. Исхудалые и оборванные, они шли, еле передвигая ноги, опираясь на палки и держась друг за друга. От группы отделилась женщина, раскинула руки, упала лицом на землю, обнимая пепелище, заголосила.

— Ишь, убивается Макаровна, — сказала женщина. — Сына, видишь, партизана фашисты замучили. Глаза выкололи, звезду на груди вырезали... А мужа ее повесили, одна осталась. А жили они хорошо до войны. На агронома сына выучила.

— Ото ж и по всей Украине такое, — сказал Антощенко. — Порубал ворог наши сады, спалил хаты.

Петро тоже вытащил из вещевого мешка хлеб и отдал женщине. Она улыбнулась.

— А як же вы, мамаша, тут жить будете?

— Дойти б до района. Власть не оставит, поможет.

Дарбадаев, развязывая мешок, пошел к другой толпе беженцев.

Матросов сдвинул брови, не сводя глаз смотрит на женщину, на багровый кровоподтек под ее правым глазом и думает о Лизе Чайкиной, о тысячах и тысячах советских людей, замученных в городах и селах. Много он читал и слышал о фашистах; теперь он сам видит их черные дела.

Послышалась команда:

— Вста-ать! Подъем!

Матросов, Антощенко и Дарбадаев поспешили к колонне. Теперь батальон, сокращая путь, движется по узкой просеке. И бойцы идут гуськом, держась протоптанной тропы, чтоб не увязнуть в глубоком снегу.

Матросов задумчив, неразговорчив.

«Как же эти люди до лета проживут?»

Молчит он долго, потом значительно говорит дружкам:

— По той земле идем, по какой Лиза Чайкина ходила. — И, помолчав задумчиво, будто про себя сказал: — Много, много у нас таких, как горьковский Данко... Антошка, слышь? Вот вспомнилось: когда-то я записал в свой блокнот такие слова, чьи — не помню: «У большевика нет более высокой и благородной цели, как служение народу и борьба за его счастье. И только вместе с народом можно быть по-настоящему счастливым»... Ох, какая это правда! Согласен?

— Та вже ж правда. И дидуся тоже говорил: кто хочет жить против народа, чи за счет народа, — тот должен погибнуть. Только чего ты, Сашко, всё мудруешь?

Матросов вздохнул и, не ответив, сам спросил:

— Антошка, чорт, — что у тебя с ногой? Ишь, ковыляешь.

— Та молчи. Не спрашивай. Пустяки. — И шопотом сказал: — Так больно, точно на нож ступаю. Только никому не говори, а то, сам знаешь, какие хлопцы языкастые. Ничего, дотяну до места.

На следующем привале Матросов сел в сторонке, прислонясь к сосне и съежившись, как воробей. Друзья сразу заметили: приуныл неугомонный весельчак, шутник и песенник. Это было совсем не похоже на Матросова.

— Притомился, видно, соловей, — вздохнул Воронов.

А Дарбадаев накинулся на Костылева:

— Прямо скажу, — это не чутко. Перед девушками гоголем ходишь, а тут навьючиваете с Антощенко всё на Сашку, как на верблюда. Совсем надорвали паренька.

Воронов и Дарбадаев подходят к нему.

— Устал, тезка? — сочувственно спросил Воронов.

— Да нет, не то, — поморщился Матросов. — И устал, конечно... Но думаю вот...

Он думал о тысячах бездомных людей, таких же, как те беженцы, каких видел на привале.

— А сколько таких еще ждет нас, чтоб скорее освободили!

Задумались и друзья. Потом Дарбадаев поторопил:

— Чай остынет, идем, Сашок. Чего-то не клеится у нас без тебя.





Глава XIV

КТО НАСТОЯЩИЙ ДРУГ

Опять бушует вьюга, крутя перед глазами облака снега. Завалены снегом все дороги и тропы — ни проехать, ни пройти. Порой даже угадать трудно, где тут в лесных дебрях пролегала дорога. Уже от Торопца началось бездорожье, и грузовой транспорт бригады всё больше отставал. Только выносливые маленькие сибирские лошадки, надрываясь, тащили груженые повозки и розвальни. Лошадей было до полсотни в каждом батальоне. Потом стали сдавать и они. Когда повозки и сани увязали в снегу, лохматые изнуренные лошадки, с намерзшими под брюхом сосульками, становились на дыбы, мотали кудлатыми, обиндевелыми мордами и, метаясь, как бешеные, рвали постромки. Иные падали и уже больше не вставали. Всё, что можно было, вернее, — что нужно, несли теперь люди.

В небе висит почти непрерывный гул наших эскадрилий, летящих на запад. Наступление ширится. Выполнить боевой приказ спешат и пехотинцы Сталинской бригады, преодолевая заваленные снегом болота и лесные чащобы. Длинной цепочкой идут бойцы, жмурясь от летящего в глаза снега и ногой нащупывая протоптанный след. Хрустит снег под ногами. Глухо брякают котелки, лопаты. Путь солдатский долгий, и думы, как тропка в снегах, текут. А главная дума у всех одна: как ни трудно, а приказ надо выполнить точно и в срок. Никто не должен отстать в пути.

Вечером — привал в разрушенной деревушке. Усталые люди, как пьяные, валятся на снег. Но мороз крепнет, леденит будто самое нутро, и долго не улежишь на снегу. А двигаться, — тело болит. Согреться бы где, горячего кипятку хлебнуть. Но уцелела только одна изба, да и в ней окна выбиты, печь развалена.

— Печёнки будто примерзли, и всё болит, а есть хочется, — удивляется Антощенко, лежа на снегу около избы и грызя мерзлый хлеб. — Тай дурень же я, хлопцы! У нас в колхозе дыни были такие большие, як поросята. Разрежешь ее — и мякоть розовая, сладкая, во рту тает, як пирожное. А кавуны были какие! Пудовые, ей-богу. И чуть дотронешься ножом до него, он и лопнет, а в середке, як жар горит, красная сахарная мякоть. Целые бочки с медом стояли, корзины с виноградом. А я ж, дурень, того не любил, а любил тарань с цыбулею [1] и кислый квас.

— Да замолчи! — плаксиво ворчит Макеев. — И так в животе мутит, — слышь, хохол?

— Не, я без очков не слышу, — невозмутимо отвечает Антощенко.

— Верно, Петро! — смеется Матросов. — Говори, говори еще. Это хорошо вспоминать.

Слушая Антощенко, Матросов вспоминает его деда. Давно он видел и слышал деда Макара, но неизгладимо живет в сердце дедова сказка.

Поеживаясь, Матросов внимательно оглядел избу и обратился к друзьям:

— Братки, — а что если палатками завесить окна, а печь исправить и затопить? Тут тебе будет кипяток, жареное и пареное, и сколько народу попеременно погреется, — а?

— Надоел прямо, — ворчит Макеев. — Тут месту рад, пальцем пошевелить больно, а он лезет с выдумками. Не до печки тут.

Матросов молча засучивает рукава и, посвистывая, начинает заделывать печь. Потом Воронов, Костылев и Дарбадаев помогают ему, тоже молча.

Макеев смущенно косится на них, жуя мерзлый хлеб.

---

[1] Цыбуля — лук.

— Минуту быть нам тут, а вы зря возитесь.

— Минутки-то и должно хватить, — усмехается Матросов.

Скоро в печке гудело пламя, и в нее со всех сторон совали набитые снегом котелки, кружки, куски мерзлого хлеба. В избу доотказа набилось бойцов. В самый темный угол пробрался и Макеев. Отогревшись и повеселев, люди едят поджаренные консервы, пьют чай.

— У солдата домов, — что кустов и холмов, а любая хата и дворца краше, — смеется Матросов, снимая с печки котелок с кипящей водой, и подмигивает Макееву: — Держи кружку, браток.

Макеев сконфуженно пыхтит:

— Мы ж лодыри, мы не строили дворцов!

— Ну, не ершись, тезка, наливай, грейся.

— Знаешь, Сашка, — пристально смотрит ему в глаза Макеев, — хоть ты часто сердишься на меня, а всё-таки ты друг настоящий.

Воронов язвительно заметил.

— Выходит, Макеев, твою дружбу за кружку кипятку или за табачную понюшку купить можно.

— А что? Дружбу, как и брюхо, подкармливать надо.

— Ерунда! Настоящий друг даже на смерть пойдет за друга. Как смотришь, тезка?

— Братки, да это трудно сразу, — смутился Матросов. — Помню, кто-то сказал: если ты ищешь друга без недостатков, рискуешь остаться без друзей. Это верно, по-моему. Но это не значит, что друзья все, без разбора. Для меня друг — это тот человек, которому мне всегда хочется сделать что-нибудь хорошее. И я в нем вижу хорошее.

— Больно много у тебя хороших.

— Их много и есть. Да не всегда скоро в человеке разглядишь хорошее. Иногда поссоришься с человеком, обозлишься на него, нагрубишь ему, а приглядишься, — он душевный человек. И так стыдно станет, хоть сквозь землю провались! А чем больше друзей, тем лучше. Ясно? Жить легче, в бою порука, и душу отвести есть с кем.

В избу вошли взводный Кораблев и старшина Кедров. В мигающем свете горящих лучин люди, звеня кружками, пили чай, оживленно говорили.

— Э, да у вас тут настоящий ресторан! — подмигнул Кедров.

— Богато живете, — одобрительно кивнул взводный. — А у всех ли порядок, не стер ли кто ноги?

Антощенко опустил глаза.

— Матросов, а я куницу видел, — весело подмигнул Кедров, срывая ледяшки с усов. — Гналась за белкой. Понимаешь, с дерева на дерево, ну, лётом летит проклятая. Насилу удержался. Ух, как хотелось подшибить ее! Еще видел, как шныряли в рябиннике и клевали подмороженную красную рябину хохлачи-свиристели. Занятные птицы.

Матросов рад приходу Кедрова:

— Товарищ старшина, садитесь, пожалуйста. У нас тепло. Чаю хоть ведро пейте. Табачком снабдим. А вы расскажите, как охотились в тайге.

— Некогда, Матросов, после расскажу, после.

Когда взводный и старшина ушли, усталые бойцы притихли. Лучина погасла. Кое-кто уже спал, лежа или сидя. Только в углу кряхтел Антощенко.

— Антошка, что с тобой? — спросил Матросов.

— Так, ничего.

Но в голосе его что-то недоброе. Матросов пробрался к нему и стал допытываться, — что случилось?

— Та що говорить? — сердился Антощенко. — Ну, если пристал, як репьях, то скажи: ты мне друг, Сашко?

— Вот чудак, еще спрашиваешь!

— Так никому ж не говори, — шептал он. — Я почти до кости растер ногу, на портянках кровь засохла, а сказать кому — боюсь, бо меня в медсанбат отошлют.

— Вот дурная голова! Ну чего ж ты молчал?

— Та не сердься, Сашко. А ще друг...

— Не боец ты, Антошка, а дите малое.

— Побачим там, кто боец, — обиделся Антощенко. — Не кажы гоп, пока не перескочишь. Сукно трет, понимаешь?

Матросов порылся в вещевом мешке.

— Возьми вот мягкие портянки. Фланель.

— Оно колы б такие онучи, як дома, — кряхтел Антощенко, обертывая ногу. — У Леси холстына мягче ваты. Чуешь, Сашко?

Но Матросов сидя уже крепко спал.

Через несколько минут, отвернув палатку, в окно всунул голову Кедров и с хрипотцой, сурово скомандовал:

— Встать! — И тихо, отечески добавил: — Вставай, сынки, подымайся. Дома выспимся.

Матросов зевнул, поднялся и строго потребовал:

— Давай, Антошка, твоего «сидора» я понесу.

— Ну, бери.

Антощенко не удивился этой помощи. Матросов многим бойцам помогает: одному — вещевой мешок понести, другому — гранаты или диски автоматные. Но эта дружеская помощь волнует Антощенко, и он, благодарный, шагает за Матросовым не отставая.

— Ну, Сашко, и накатаемся мы на човне по Днипру и наспиваемся ж, когда отвоюемся.

Ночью вьюга стихла. Небо прояснилось. В большом оранжево-голубом круге показалась ущербленная луна. В серебристой прозрачной мгле выступают, как в сказочном уборе, облепленные снегом деревья, и низкие звезды словно повисли на их седых кронах.

Люди идут тихо. Слышен только глухой скрип снега.

Следующий привал был перед рассветом. Люди сразу же валились на снег и засыпали.

Матросов отдал Антощенко вещевой мешок, автомат и, вытягиваясь на снегу, спросил его, — болят ли ноги?

— Та ничего. Занемела боль, не чую.

Они сразу же уснули. Матросову показалось, что он спал очень долго, когда пронизывающая всё тело зябкая дрожь разбудила его. Но спал он всего несколько минут. Мороз щипал за нос. Матросов хотел повернуться на бок, чтоб свернуться в комок, согреться и снова уснуть, но его что-то держало: оказалось, шинель примерзла к коряге. Он осторожно отодрал ее и встал.

«И хорошо, что проснулся, а то совсем закоченел бы». Он с тревогой думает о спящих на снегу людях. Не чувствуя холода во сне, они могут простудиться, заболеть, а может, и замерзнуть. Он идет от одного бойца к другому, будит их и требует повернуться на другой бок. Бойцы не удивляются: не впервые Матросов делает это. Лишь некоторые спросонья недовольно ворчат.

— Вот пристал, как оса! — трясет головой Воронов. — Ни минуты покоя от тебя!

Матросов разложил костерок, протянул растопыренные пальцы над колеблющимся оранжевым пламенем.

— А ну, братки, кто замерз, грейся!

Темнота вокруг сгустилась. Из темноты выходят люди, окружают костер, греют руки, закуривают.

— Молодчина, Сашка, что разбудил, — говорит Воронов. — А то будто живот уже обледенел.

Макеев встает и не может встать.

— Да кто меня держит? — злится он.

Воронов и Матросов берут его за руки и поднимают. Оказалось, и его одежда примерзла.

Суслов, отогревшись у костра, уже рассуждает о закалке:

— До войны бывало дома босиком зимой по полу походишь — и зачихал: насморк. А тут в октябре я переплывал речку — ледок уже ломался. Ну, думаю, простужусь. А побегал, градусного хлебнул — и хоть бы что.

Раскачиваясь, выходит из темноты огромный, как великан, Дарбадаев. Хрипит простуженным басом:

— А ну, у кого табачок, угощай!

Все молчат, табачок на исходе, — приберечь надо.

— На, прожора, — протягивает кисет Матросов.

— Да у тебя тут, Сашутка, всего на закурку.

— Бери, бери! Я себе всего добуду. Мне, спасибо, не отказывают.

Ему нравилось угощать других чем-нибудь, и он делился последним, что имел. Ему платили тем же.

Снова, растянувшись в лесной чащобе, торопливо идет колонна. Опять Матросов несет вещевой мешок Антощенко. Он сам уже устал и пошатывается. Дарбадаев берет у него вещи Антощенко.

— И верно, понеси, Мишка, до привала. Ты ведь здоровей верблюда.

— Не говори! И я качаюсь, — ноги будто не мои!

Взошло над лесом и пригрело февральское солнце, и утренний привал был особенно желанным. Под теплыми лучами так сладостно вздремнуть! Сон теперь был милее всего на свете. Даже про еду люди забыли, расправляя под солнцем ноющее тело. Матросов, лежа на спине, с удивлением увидел на ветках ракиты сизо-серебристый пушок распускающихся почек. Еще больше удивил его тончайший цветочный запах. Откуда он? Почудилось, что

ли? Он принюхался: ветерок нес запах от тополя, что стоял шагах в двадцати. Матросов не вытерпел: встал, отломил ветку, размял липкую от зеленоватого густого, как смола, сока почку, понюхал и повеселел. Вот она, жизнь! Еще кругом белым-бело от снегов и ночью он примерз, а почки уже наливаются соком, набухают. Значит, весна уже идет. Он отломил еще ветку ракиты и спрятал обе ветки в карман ватника, чтоб показать их Кедрову.

С улыбкой он стал ложиться, чтобы немного подремать, но увидел Антощенко и насторожился. Тот уединился за сосной и, сняв валенки и воровски озираясь, что-то делал со своими ногами. Матросов, вздохнув, подошел к нему. Антощенко, оглянувшись, прикрыл ноги.

— Покажи! — потребовал Матросов.

— Та чего тут показывать? Не театр. — И нехотя открыл окровавленную ногу.

Матросов сердито хмурится:

— Ну, прямо ты, Петро, пустая голова! Побить тебя — мало. Нет, кончу я с тобой дружить. Довольно возился! Ну, что это? Хлястик оборван. Искалечил себя, — значит, неумелый боец, не знаешь, как нужно ноги обернуть. Ну, кому всё это наруку? Врагу — вот кому. А еще комсомолец! И на собрании обещался быть примерным.

Антощенко смутился. Он знал: Матросов аккуратен до щепетильности. Непорядка в его одежде еще никто не видел.

— Та не бурчи, Сашко! Мне ж и так тошно. И нога горит, и хлястик пришить не можу. Пальцы задубели. Иголку не держут. Хоть в петлю лезь.

Матросов сразу смягчился:

— Уже и раскис! При чем тут петля? Вот что надо.

Он вскрыл индивидуальный пакет, чтоб забинтовать Петру ногу, но увидел на икре глубокую кровоточащую рану с обсохшей по краям кровью и опустил руки.

— Врешь, Антошка. Ты не натер ногу: тут дырка.

— Ну, нэхай дырка, — холодно усмехнулся Антощенко. — Тебе веселей, що дырка? А всё-таки и натер, — показал он на растертую щиколотку. — Не дуйся, Сашко. Я уже тебе говорил: на тактических учениях напоролся на проволоку. Цэ ж оно и есть, только растер. И щико-

лотку растер: бо неудобно итти больной ногой. Та никому не говори. А то сам знаешь, какие у нас языкастые хлопцы — сразу донесут Вале, а та в санбат вернет меня.

— Ладно, плакса, — сказал Матросов.

Когда прикладывал к ране вату и потуже закручивал бинтами, почувствовал братскую нежность к этому большому и скромному парню.

— Ты, Антошка, не сердись, что нашумел. Сам знаешь, какой я горячий и отходчивый. Это у меня в Уфе есть братишка — Тимоня. Ну точь-в-точь вроде тебя неумелка. Ты его и обмой, ты его и обшей. А всё-таки я его больше всех люблю, Тимошку.

Антощенко чувствует душевную силу друга.

— Так и я ж тебя, чорта, больше всех... Больше нема у меня таких, як ты. Иной, видишь, дружит, пока ему выгодно, а як друг в беде, — моя хата с краю, ничего не знаю. — И хмурое лицо его проясняется улыбкой.

— Без дружбы, Петро, нельзя. Не имеющий друзей — самый бедный человек. Ну, снимай шинель! — Матросов вынул из вещевого мешка узелок, где были иголки и мотки разных ниток, стал пришивать хлястик.

Валя Щепица, увидев их, пошла к ним напрямик, с трудом вытаскивая из нетоптанного снега большие валенки. Балансируя, она взмахивала руками и тащила на боку огромную парусиновую сумку с красным крестом, набитую медикаментами. С этой сумкой она, как с личным оружием, никогда не расставалась.

Подойдя, она строго спросила Антощенко:

— Ты чего хромаешь? Натертость, что ли?

— Та вже ж, — нехотя ответил тот.

— Профилактику против инфекции проделал? Снимай валенки!

Повернувшись к Вале, уже шутливым тоном Антощенко сказал, кивнув на ногу:

— Та нема там ничого. Смотри ж ты, глазастая какая, приметила, що я шкандыбаю.[1] Ничого, Валюшечка, иди ты отсюдова, иди, дивчинко.

Валя рассердилась, и полные щеки ее от подбородка до висков вспыхнули румянцем:

— Ты мне, знаешь, голову не морочь! Наживешь

---

[1] **Шкандыбать** — хромать.

гангрену, — возись потом с тобой! Из строя выйдешь. Армия бойца потеряет через наши любезности. Не дозволю этого! Давай перевяжу. Видела: на левую припадал. — И, не дожидаясь согласия, стащила с его ноги валенок.

Оторопевший Антощенко растерянно смотрел то на Валю, то на Матросова.

— Ох, пройдоха! — ворчит Валя, разглядывая рану. — Так и есть. Икроножное ранение. Да какой тебе дурак еще перевязку делал не по правилу? Нет, я тебя немедленно эвакуирую в медсанбат.

— Ты, Валя, не кричи, а то еще почует кто. Не отсылай меня в санбат, не разлучай с хлопцами.

— Даже слушать не хочу. А инструкция что гласит? Что, я из-за тебя инструкцию буду нарушать? По-комсомольски это? — И, промывая и забинтовывая рану, покачивает головой. — Ну и хитрецы! Ишь, сами вздумали перевязку делать. Видали? Дровоколы в медики лезут. Да что вы — курсы, мединституты кончали? Да разве есть у вас риваноль, скипидар и марганцовка? То-то и оно-то! — Но голос ее был мягче. Наконец, она, заканчивая перевязку, вздохнула. — Эх, вы, хлопятки, прямо-таки и смех и горе с вами!

Тут Антощенко, улучив минуту, взмолился:

— Ну, Валечка, ну, сестричка ро́дная, не отрывай меня от дружков, не гони в санбат.

— Ладно, пущу тебя еще на один переход, а там посмотрим. — И, прямая, гордая, зашагала прочь.

Довольная улыбка расплылась по обветренному лицу Антощенко.

— Смотри ж ты! Думал, она — бесчувственная формалистка, а она душевная, ценит солдатскую дружбу.

— Ну и отчитала нас, просто чудо-девушка! — хохочет Матросов и продолжает пришивать хлястик.

К ним подходит старшина Кедров, пристально смотрит на немудрую работу Матросова, поправляет усы:

— Это по-моему. Солдат всё должен уметь. Заплату поставить, зашить, из топора кашу сварить, из земли дом сделать. А дружку подсобить, — так и вдвойне хорошо.

— Да это сможет всякий, товарищ старшина.

— Не скажи. Как там?.. «Рожь и пшеница летом



родится, а хороший человек всегда пригодится. В бою да в беде друзья познаются». Вот гляжу на тебя, Матросов, — артельный ты человек.

— Я хитрый, товарищ старшина, — смеется Матросов. — У меня такой расчет: чем крепче каждый в отдельности, тем сильнее мы все вместе.

Старшина вдруг прислушался, значительно взгляиул на Матросова, как смотрят на ребятишек, которых хотят удивить неожиданным удовольствием, потом глазами показал вверх. Дятел старательно долбил корявый ствол старой осины.

— Вот юна, дятлова кузница. Засунул шишку в щель, рябой, и выклевывает семена. Каждая тварь, видишь, приспособление имеет и свой следок. Бывало выйдешь

в лес и заглядишься. Тут видишь, как заяц-беляк по снегу петлял, там выдра-каналья с горки каталась; а то, глядишь, следок будто цепочка на снегу — по две лапки всё, а левая чуточку впереди, — значит, горностай или ласка прогулялась... Ну, отдыхай, ребята. Подъем скоро. — И ушел.

Когда раздалась команда продолжать путь, изнуренные и разнеженные солнцем люди, казалось, не смогут встать. Воронов спросонья никак не мог обмотать портянкой ногу. Макеев несколько раз поднимался и снова валился, засыпал. И когда впереди колонна тронулась, на обочине дороги под сосной показался Кедров. Он увидел нахмуренные лица бойцов и, лихо подкручивая свои седые усы, задорно крикнул:

— Эй, песельники-запевалы, давай песню повеселей!

— Есть песню повеселей! — отозвался Матросов и запел:

Пролетают кони да шляхом каменистым.
Впереди привстал передовой.
И поэскадронно бойцы-кавалеристы,
Подтянув поводья, вылетают в бой.

Друзья — Воронов, Дарбадаев и Костылев — подхватили:

В бой за Родину, в бой за Сталина!
Боевая честь нам дорога.
Кони сытые бьют копытами.
Разобьем по-сталински врага.

Хмурь и дрема сходят с лиц бойцов. Стараясь шагать в ногу, один за другим все бойцы подхватывают песню.

★

В селе Михаи, у реки Ловать, была последняя дневка этого трудного марша. Линия фронта близко. Из-за Большого Ломоватого бора уже слышен орудийный гул. Трудный марш позади. Шесть дней и ночей шли люди, останавливаясь только на короткие привалы. Часто менялась погода. Крепкие морозы порой сдавливали дыхание. Потом пригревало солнце, на ветках блестели капли, и весенним птичьим перезвоном наполнялся лес. Потом бушевала вьюга, заваливая сугробами тропы, слепя глаза и сбивая человека с ног. Но и в этой частой смене

февральской погоды уже угадывалось приближение весны. Теперь двухсоткилометровый поход заканчивался.

В село еще втягивался хвост колонны, а в штабах бригады уже шла напряженная работа.

Штаб второго батальона разместился в одной из уцелевших изб на краю села. Автоматчики расположились здесь же по соседству, в сараях. За шесть последних дней бойцам надоело валяться на снегу. Они рады, что хоть несколько часов проведут под крышей, и сразу повалились на раскиданное по сараю порыжелое сено.

— Не сарай, а спальня с пуховиками, — подмигнул Матросов дружкам и довольно растянулся на сене.

Но из-за туч выглянуло солнце и так пригрело, что с крыш часто закапало. Из «спальни», где под тонким слоем сена мерзлая земля, бойцов потянуло погреться на солнце. Снег стал мягкий, как вата. Вышел и Матросов.

Открылась дверь в штабной избе, послышался сердитый голос комбата Афанасьева:

— Что я их — на горбу понесу?

И тихий, но твердый голос замполита Климских:

— Сам знаешь, Алексеич, если надо, то и на горбу.

Дверь захлопнули. Там шло совещание. Батальон получил боевую задачу: быстро пройти Большой Ломоватый бор, на рассвете овладеть деревней Чернушки и продвигаться дальше по своей полосе наступления. Это была часть общей задачи корпуса. Но выяснилось, что выполнение задачи, поставленной батальону, усложняется непредвиденными обстоятельствами. Деревня была мощным укреплением, опорным пунктом противника, со сложной системой дзотов и других огневых точек, а из-за лесного и болотного бездорожья туда сейчас невозможно продвинуть нашу тяжелую технику, которая, к тому же, из-за бездорожья где-то отстала. Решался вопрос, как подтянуть хоть пару полковых пушек.

Бойцы еще не знали о боевой задаче, о предстоящих трудностях. Изнуренные до предела, вытянув одеревяневшее ноющее тело под горячим ласковым солнцем, они старались получше использовать каждую минуту отдыха. Кое-кто уже крепко спал. Но вот всех сразу взбудоражил возбужденный крик с улицы:

— Почта! Письма!

Неожиданно и удивительно было, что даже на таком

долгом и трудном марше полевая почта работала четко и бесперебойио. Но сомиеиий не было: иевзрачный и шустрый батальоииый почтарь — «окопиая радость» — Ефим Гусев, поводя раскосыми смеющимися глазами, раздавал письма, и вокруг иего толкались люди, забыв про усталость. Гусев зиал, с каким нетерпением бойцы ждут писем, и одиому ему известиыми путями разыскал и во-время, перед боем, доставил письма. Теперь ои доволеи собой, обласкаииый теплыми словами и благодариыми взглядами бойцов.

Матросов не ждал писем: мал срок, чтобы они успели прийти по новому адресу, да еще иа марше. Тем больше ои обрадовался, получив сразу три письма — от Лииы, Тимошки и от Еремина. Отойдя в сторону, первым он стал читать письмо Лииы. Оиа писала о иапряжеииой трудовой жизии детской колоиии. Миогие воспитаиники на фабрике выполияют по две-три иормы. И несколько раз перечитал то место, где оиа говорила, что теперь только по-настоящему поияла, какое было счастье, когда они были вместе: «Говорить о путешествеиииках, об открытиях иауки, вместе слушать музыку, мечтать — у меия дух захватывает, когда об этом думаю. Не умели мы цеиить это. Воюй как иадо, Сашеиька, и возвращайся с победой. Жду, жду, жду».

Тимошка Щукин писал, что его, Щукииа, имя занесеио на доску почета. Альбом героев Отечествеииой войны он зиачительно пополиил, а иа-диях поместил туда вырезанный из газеты портрет их бывшего одиокашиика, а теперь летчика Брызгииа, который в боях за Сталинград сбил три вражеских самолета. Еще Тимошка мельком обмолвился, что изучает аиглийский язык и следующее письмо, может, напишет по-аиглийски. И Матросов довольио рассмеялся, представив себе Тимошку говорящим по-аиглийски.

Еремин писал коротко: работает мастером столяриого цеха, и работы так миого, что он диюет и иочует в цехе. Впрочем, все миого работают. Силач Кленов, например, чтоб не отвлекать от работы других, одии выносит из мастерской изготовлеииые сиарядиые ящики, работая за пятерых. И страиио было теперь Матросову вспомиить былое поведеиие этого человека. И еще Еремин сообщает, что получил письмо от их общего дружка Виктора

Чайки, который учится в военном училище. Заканчивалось письмо так: «Как видишь, все слово держим и нашей дружбы не посрамим».

Легко на душе, хороши письма. Саша идет со своей радостью к фронтовым дружкам. Они уже собрались в веселый кружок у плетня и оживленно говорят о новостях, что принесли письма с разных концов страны. Идет степенно, широко шагая, а хочется побежать с подскоком, как бегал в детстве.

К автоматчикам подходит и Буграчев.

— Ну, чрезвычайные происшествия есть, хлопцы?

— Совсем наоборот, товарищ капитан, — смеется Дарбадаев и первый говорит о полученном письме. Его Магрифа стала в колхозе бригадиром. Хотя в их колхозе остались одни старики, женщины и дети, дела идут там не так уж плохо: урожай собрали больше довоенного.

Костылев получил письмо от сестры-геолога из-за Полярного круга. В вековечных тундрах найдены значительные запасы каменного угля, и там строится новый город — Воркута. И хотя там стоят шестидесятиградусные морозы, люди согреты дерзновенной мечтой, людям жарко от спешной работы: Донбасс временно захватили враги, а стране нужен уголь.

Воронову пишет девушка из Сухуми. Там сейчас цветут мушмула, миндаль и так тепло, что девушка пишет это письмо в летнем платье в тени пальмы На ее фабрике кончается обеденный перерыв, и она спешит на работу.

Из Магнитогорска Макееву пишет брат Герасим. У него, сталевара, почернела кожа на лице от бессменного нахождения у мартеновской печи, но он готов еще больше работать для фронта, только б скорее гнали врага. Так работают и думают все рабочие завода.

Буграчев внимательно слушает, хитровато косясь на бойцов, зная, какое значение имеют письма для их настроения.

— Получил, товарищи, и я письмецо, — говорит он. — Такой у меня есть друг — Володя Яковенко. Думаю, таким другом и погордиться можно. Пишет мне из госпиталя. Знаете, ему всю ногу до самого бедра ампутировали, а он не хнычет, а готовится сдавать экзамен за весь третий курс института. Так и пишет: не хочу в госпитале зря кашу есть и терять времени. Вот он какой!

Такая беседа, возникшая внезапно, могла продолжаться часами, и всё нашлось бы о чем говорить.

Комсорг Брагин, который всегда хочет знать горести и радости комсомольцев, спросил, где Антощенко.

— И он как будто получил письмо?

Матросов кинулся разыскивать дружка.

В стороне у сарая, надвинув на глаза шапку, сидит Михась Белевич и поет грустную песню про «перапелачку», у которой «грудка балить, хлебца няма».

— Михась, не получил письма? — спросил Матросов.

— Жду всё. Да чи дождусь! — махнул он рукой.

— Жди, Михаська, не унывай, — ласково сказал Матросов. — Антощенко не видел?

Антощенко сидит один за сараем и, облокотившись, задумчиво смотрит в лес. Он молча дает Матросову письмо.

— От Леси, — доверительно потом говорит он дрожащими губами, тяжело вздохнув. — Ты, Сашко, только послухай, що она пишет. — И стал читать:

«Ище пишу тоби, Петрику любый, про наших дидусю Макара. Коли их эсэсовцы вешали в саду на груше, дидуся крикнули так, що аж залунало[1] *по-над Днипром: «Брешете, вороги! Всё одно не одолеете нашу землю, народною кровью политую, а сгинете, як та чорная чума под солнцем!» А повесили дидусю за то, що ходили по селам с кобзою*[2] *и сказку говорили про то, вид чого полевой мак цвите, и в партиваны селян кликали».*

Матросов слушает и мрачно глядит в землю. Совсем отлетела его радость, еще минуту назад наполнявшая сердце. Не может он радоваться, когда кругом горе, а гибель деда — это и его печаль. Дидуся, дидуся, давняя встреча с тобой там, в саду, так взволновала бездомного хлопчика глубиной твоего человеколюбия, что не забудется никогда.

«А ище пишу тоби, любый Петрику, що я теперь калека, — читал Антощенко, задыхаясь, точно слова застревали в горле. — *Гнали нас, дивчат и молодиц, в неметчину. Мы падали, целовали землю, плакали, прощались. А комендант Друцкер кричит: «Шнель!*[3] *Вперед, марш!» А як дотронулся он до мене, я не стерпела, плюнула ему в рыло. Потом*

[1] Залунало — разнеслось эхо.
[2] Кобза — украинский народный струнный инструмент.
[3] Шнель (нем.) — быстрее.

схватила каменюку и ударила его по голове... Началась потасовка. И неначе на всю степь закричала я: «Утекайте все в лес до партизан!» И все побегли. А мене фашисты подстрелили. Дивчата Крутою Балкою несли мене до самого леса. Теперь партизанский врач лечит мене. Нога перебита, и, може, так и останусь калекою. А всё село наше вороги спалили, а колхозный сад порубали...»

Длинными путями кочевало это письмо, сложенное в угольник, пока дошло сюда. Советский лётчик доставил его из партизанского края в Москву; отсюда оно пошло в военно-пехотное училище. Там, видно, в судьбе его принял участие начальник училища — полковник Рябченко — и дал ему дальнейший ход. И вот теперь этот листок бумаги, казалось, еще хранивший теплоту десятков чутких человеческих рук, поведал неизбывную печаль именно тому, для кого она наиболее мучительна. Антощенко уже несколько раз перечитал письмо и всё не мог оторвать от него глаз.

Матросов сжал его дрожащую руку и сквозь стиснутые зубы тихо сказал:

— Мы им за всё отплатим! А ты не горюй; этим не поможешь. Почему ты прячешься?

— Та не хочу хлопцам настроение портить.

— Чудак! Наоборот, всем ребятам надо почитать это письмо. Пусть знают, что̀ люди терпят. Пойдем к ним, Петруся, пойдем, браток.

— Та що я — артист? Не пойду, — упрямо заявил Антощенко.

Матросов понимающе посмотрел ему в глаза и не стал его понуждать.

★

Командование отбирало для посылки в разведку самых расторопных бойцов из разведвзвода и автоматчиков. Матросову очень хотелось скорее проверить себя в опасном деле. У него дух захватывало, — так хотелось побывать в разведке. Еще в пору своего бездомного детства и потом за школьной партой в Уфимской трудовой колонии он мечтал о повторении лихих дел разведчиков легендарных дивизий Чапаева, Щорса и конной армии Буденного.

Он побежал к командиру роты автоматчиков — Артюхову.

— Разрешите и мне в разведку, товарищ старший лейтенант. Прошу вас, разрешите! Верьте совести, не подведу.

Артюхов вначале сразу отказал ему: разведка — не прогулка с веселыми приключениями, а трудное и опасное дело. Разведгруппе поставлена очень ответственная задача, и посылают в разведку самых опытных людей.

На лице Матросова выразилось такое огорчение, что командир роты даже отвернулся. Видно было, что неугомонный и гордый паренек этот теперь не успокоится. Артюхов поразмыслил и признал свои доводы несправедливыми: Матросов достаточно серьезен и понимает важность предполагаемой разведки да и по расторопности не хуже других.

— Ладно, разрешаю тебе итти в разведку, — сказал командир роты. — Да смотри, не подкачай!





Глава XV

В РАЗВЕДКЕ

После необходимых приготовлений разведгруппа незаметно скрылась в лесу. Взволнованный Матросов настороженно смотрел вокруг и следил за каждым движением опытных разведчиков.

В лесу стемнело раньше обычного. Плотные сизые облака будто непроницаемым пологом окутали лес. Зашумели, качаясь, верхушки высоких сосен, повалил снег, и вскоре поднялась такая вьюга, что всё потонуло в снежной кипящей мгле и за несколько шагов ничего не было видно.

Командир разведгруппы лейтенант Вагин всё чаще смотрел на компас со светящимся циферблатом и торопил людей. Он волновался, хотя и скрывал это, стараясь быть самоуверенным. Под прикрытием вьюги легче было пробраться к переднему краю противника, но вьюга же могла и погубить разведчиков, скрыв от них какую-нибудь хитрую ловушку, минное поле или проволочное заграждение с условной сигнализацией. Не раз Вагин удачно хаживал в ночной поиск и считался опытным разведчиком, но теперь данные наблюдения за противником и вообще всю подготовку поиска он считал недостаточными, а более тщательно подготовиться — некогда.

Матросов, как и другие разведчики, непоколебимо верил в способности лейтенанта Вагина и в удачный исход дела. Озабочен был он лишь тем, как ему самому лучше выполнить свои обязанности. Он знал свою скромную роль в этом поиске: в случае надобности, он и бойцы Сизов и Лыков будут огнем прикрывать отход

группы захвата. Мысленно ои представлял себе, как воплотится в действие та тщательно расчерченная на листе бумаги схема, какую разъяснял Вагин.

Пока всё шло не так, как ои предполагал раньше, воображая себя разведчиком. Не было приподнятой романтической взволнованности, и ои вовсе не чувствовал себя отчаянным и лихим героем. Напротив, он ловнл себя на том, что вздрагнвал, когда в этой окружающей кромешной тьме вдруг раздавался треск и глухой шум падающего дерева, надломленного бурей, или нз-под иог вдруг со свистом и странным хрипом взлетала какая-то большая птица, или на голову падал сорвавшийся с ветки ком снега. Ныло плечо от автоматного ремня, иа левой ноге сбилась и терла портянка, и всё тело, точно свинцом, наливалось усталостью. Итти было трудно, часто ноги глубоко проваливались в снег, цеплялись за пни и корягн. От нервного напряжеиия шумело в ушах. Путь казался нескончаемо-долгим.

Наконец они вышли на передний край, долго шли траншеями, в темиоте иатыкаясь на сидящих там людей. Потом разведчики остаиовились и Матросова за полу шинели потянули вниз.

— Садись, — привал, — прошептал Сизов.

Это было расположение боевого охранения, исходная позиция разведгруппы. На переднем крае — тихо. Лишь изредка где-то, будто сонный клекот диковинной птицы, раздавалнсь короткие тупые пулеметные очереди да вспыхивали ракеты. А иа участке, где были разведчики, стояла зловещая тишина. Только слышались завывание вьюги и шум деревьев.

Лейтенант Вагии шопотом сделал последние распоряжения и еще раз предупредил:

— Ползти бесшумно, действовать решительно, быстро и смело!

Они прошли еще метров с полсотни по извилистой траншее, выведеииой в глубь нейтральной зоны. Вагин о чем-то пошептался с дозорным, и разведчики выбрались из траншеи на голую кочковатую поляну, за которой иачинался вражеский передний край. На поляне темнота была сероватая, и сквозь вьюжиую мглу можно было с трудом различить контуры леса. Тут ветер налетал порывами и захлестывал глаза сиегом.

Когда Матросов в группе прикрытия полз по снежной целине, то невольно думал о разнообразных минах — натяжного и нажимного действия, — и от холодка, проникающего будто в самое часто бьющееся сердце, перехватывало дыхание. Но он упрямо полз, гоня мысли о минах и плотнее прижимаясь к земле.

Вдруг он услышал: справа кто-то промычал и сразу стих. Опять звенящая в ушах тишина да шум ветра. Матросов с напряжением вгляделся в темноту и увидел, как группа захвата волокла «языка», и чуть не вскрикнул от радости.

Но внезапно он был ослеплен ярким светом вспыхнувшей над поляной ракеты. Лихорадочно затрещал вражеский пулемет. Припав лицом к снегу, Матросов решил: «Надо действовать!»

Открыв глаза, он увидел: Сизов и Лыков, отползая, били короткими автоматными очередями по вражескому пулемету. Александр тоже дал несколько очередей из своего автомата. Огонь пулемета был перенесен на группу прикрытия.

Сизов был ранен, упал и не мог ползти. Матросов, помня заповедь советского воина: «Сам погибай, а товарища выручай», кинулся к Сизову, стал было тащить его. Но тотчас же увидел совсем близко частые пулеметные вспышки. Пулемет бил прямо по ним. От его огня могли погибнуть все трое.

— Я заставлю замолчать пулемет, — сказал Матросов Лыкову. — Я обману фашистов, отвлеку огонь на себя, а ты скорей тащи Сизова.

Так и вышло: он отполз в сторону, залег за кочкой, — и после его третьей короткой автоматной очереди вражеский пулемет смолк. Потом снова заработал, — и пули полетели в его сторону. Этого и добивался Матросов. Лыков утащил Сизова. Скрылись в нашей траншее и разведчики. Убедившись, что все свои ушли, побежал было и Матросов.

Но над самой его головой ослепительно вспыхнула ракета. Поднялся страшный треск и грохот от разрывов снарядов и мин. Казалось, каждый снаряд, каждая мина и пуля летят в него, и за каждым кустом и деревом чудился враг. Оглушенный взрывами, он прыгнул в глубокую воронку, зияющую вывороченным суглинком, как

свежая рана, припал щекой к вздрагивающей, еще теплой, дымящейся земле, пахнущей гарью.

Огонь и вьюга бушевали на всей поляне нейтральной зоны. Кипела снежная предрассветная мгла, разрываемая вспышками взрывов. Не утихал оглушающий орудийный и минометный грохот, лихорадочный пулеметный треск и зловещий свист осколков.

Гитлеровцы неистовствовали: наши разведчики у них из-под носа увели «языка» — часового-эсэсовца 285-й пехотной дивизии СС. Теперь они старались плотным огнем накрыть и уничтожить разведгруппу и своего незадачливого эсэсовца. Но били они наугад: снежная муть поглощала мертвенный бледнозеленый свет ракет и цветные вспышки трассирующих пуль.

Матросову трудно было понять: беснующаяся вьюга или взрывные волны швыряли в лицо тучи колючего снега, слепили глаза. Тяжело падали на каску комья мерзлого суглинка. Оцепенев, некоторое время он лежал бездумно, инстинктивно желая одного — плотнее прижаться к земле, укрыться от огненного вихря.

Спохватился Матросов когда уже рассвело и фашисты перенесли огонь дальше. Он вспомнил: прикрывающие отход разведгруппы бойцы, пригибаясь, бежали к траншее на опушке леса, когда он прыгнул в воронку. Все разведчики, видимо, благополучно вернулись к своим. Ему тоже надо было скорее покинуть поляну и укрыться в лесу.

«Струсил!» — сознался Матросов самому себе со свойственной ему прямотой, и щемящая тоска сжала сердце.

Как же теперь добраться до своих? Сидя на дне воронки, он видел на фоне прояснившегося утреннего розоватого неба верхушки сосен и елей желанного Большого Ломоватого бора, где были свои. Хотелось немедленно и быстро бежать туда, и не решался: враги так близко, что слышны их голоса. На этой открытой поляне они могут легко подсечь его огнем и взять в плен. Но оставаться в воронке тоже опасно: и здесь они могут захватить его.

Он решил не обнаруживать себя, пока не придумает выход из этого трудного положения. Затаив дыхание и напрягая слух, Матросов прижимал автомат к груди и держал в руке гранату наготове. Если фашисты полезут,

он будет отбиваться до последнего дыхания, а если попытаются взять живьем, — гранатой подорвет себя и их. Решение принято.

Всё тело дрожало от озноба и нервного напряжения. Но страшнее бесующегося вокруг огня было сознание совершённой непростительной ошибки. Так долго и упорно он готовил себя к боевым делам, так настойчиво просился в разведку и вот в самую решительную минуту не выдержал испытания. Сам себя посадил в эту гибельную западню!

Как-то в военно-пехотном училище он с волнением и азартом стал говорить участнику многих боев офицеру-преподавателю, какие отважные дела он, Матросов, мог бы совершить, если бы стал разведчиком. «Романтика, — с улыбкой сказал капитан. — Всё гораздо проще и труднее. Каждое движение должно быть обдумано и рассчитано до сотой доли секунды. Подвиг — не озорство, а хладнокровный умелый труд».

Матросов потом много раз обдумывал эти слова и соглашался с ними. Не нравилось только пренебрежение к романтике и слово «хладнокровный». Разве не романтичны лихие дела матроса Кошки, Дундича, Котовского? И разве не с полным душевным горением и любовью к народу совершались эти дела?

В страшные минуты, когда Матросов сидел в воронке, будто на взрывчатке, к которой по шнуру уже полз гибельный огонек, о многом думал он. Вспомнил и слова капитана-преподавателя.

«Да, да, я растерялся и прозевал эту сотую долю секунды и решил не так, как надо. А надо было, несмотря на огонь, короткими перебежками скорее добраться до леса, а не прыгать в воронку и не сидеть тут».

В полдень ветер стих, небо очистилось, пригрело солнце. Умолк и огонь. Матросов полусидя всё держал наготове автомат и гранату, не смея пошевелиться и высунуть из воронки голову. Руки затекли, онемели. Окоченевшее тело мучительно ныло. Время тянулось нестерпимо медленно. От нервного перенапряжения, бессонной ночи и солнечного тепла ему неодолимо хотелось спать. Уснуть, забыться хоть на одну секунду! Но уснуть — значит, погибнуть. Враги могли нагрянуть в любую минуту и захватить его.

Порой ему хотелось бежать отсюда, бежать без оглядки, несмотря ни на что. Но ни бежать, ни даже ползти было нельзя. Испачканный глиной маскировочный халат сразу бы обнаружил его на снежной поляне. До боли стиснув зубы, он терпел, дожидаясь ночи.

Когда сгустились сумерки и он, с трепетом отсчитывая минуты, готовился покинуть проклятую воронку, случилось то, чего он опасался: к воронке подползли фашисты. Сначала послышался тихий, хриплый и настороженный голос еще невидимого вражеского солдата:

— Рус, капут! Сдавайся!

Матросов молчал, повернув ствол автомата в том направлении, откуда слышался голос.

— Эркель! Ганс Эркель! — помолчав, позвал немец кого-то.

Матросов ждал. И, едва показалась голова фашиста, дал короткую очередь.

Тут мелькнула мысль, что вражеский солдат не один и воронку могут забросать гранатами. Он тотчас же выпрыгнул из воронки и бросил гранату в другого солдата, залегшего метрах в десяти. Взрыв гранаты Матросов услышал, когда бежал уже к ходу сообщения, откуда выходили в разведку.

★

Друзья его еще не спали, когда Матросов вернулся в землянку. У него было хорошее настроение, когда он шел по лесу, и ноги, казалось, несли его сюда сами. Но, входя в землянку, вспомнил свой нелепый, как ему казалось, поступок на поляне, и сердце защемило от стыда. Что скажут командиры и друзья? Легче было сквозь землю провалиться, чем показаться им на глаза.

Произошло же нечто неожиданное. Увидев его, испачканного, изнуренного и хмурого, все кинулись к нему, стали тискать, обнимать, пожимать его руки. Его считали погибшим.

— Вернулся наш Сашка! Пришел-таки!

— Молодец! Смелый разведчик! Не растерялся!

— Хватит издеваться! — вдруг крикнул Матросов и злые слезы блеснули на глазах. Он считал себя виновным, ждал насмешек и не верил в искренность друзей.



Но вот вошел комроты Артюхов и тоже стал хвалить его. Матросов не вытерпел и сразу выпалил:

— Товарищ старший лейтенант, лучше накажите меня, чем насмехаться.

— Почему кипятишься?— спросил озадаченный Артюхов. — Устал, что ли? Ведь ты, и вправду, действовал хорошо. Сознательно отвлек на себя огонь противника, способствовал удачному исходу разведки. И верно, молодец. Я даже думаю к награде представить тебя.

Командир говорил серьезно, и Матросов, наконец, поверил в искренность его слов. Что же, по правде говоря, он помог товарищам, а о его минутной растерянности никто ведь не знает. Можно успокоиться, доложить командиру о наблюденных огневых точках противника, об убитых им фашистах и, чувствуя себя героем, вместе с товарищами порадоваться общей удаче.

Но Матросов вспомнил, как, просясь в разведку, он сказал: «Верьте совести, — не подведу». Десять лет уже пуще глаза дорожит он этими словами. Тем более теперь комсомольскую совесть свою запятнать он никак не может.

— Не разведчик я, а растяпа! — сердито сказал Матросов, готовый расплакаться. — Рано меня хвалить и награждать. Я растерялся и с испугу кинулся в воронку. Там и просидел весь день.





Глава XVI

БОЛЬШОЙ ЛОМОВАТЫЙ БОР

Батальон вступил в лес, когда стемнело, и даже бывалые солдаты сразу почувствовали необычайную трудность этого перехода. Проваливаясь по пояс в снег, бойцы всё необходимое для боя несли на себе: пулеметы, противотанковые ружья, пулеметные ленты и диски, цинки с патронами, гранаты, мины, вещевые мешки с продовольствием. Станковые пулеметы и тяжелые минометы тащили на волокушах, но это было, пожалуй, не легче: волокуши проваливались, глубоко бороздили рыхлый снег, опрокидывались. В лесу было темно, люди натыкались на сучья и ветви, на их головы падали комья снега. Трудно было освободить зацепившуюся за сук одежду: каждое лишнее усилие — мучительно. Ноги глубоко под снегом попадали в болотные лужи, увязали в грязи.

— Хоть бы погромче ругнуться — душу облегчить! — шептал Матросову Дарбадаев.

— В кулак, Мишка, про себя, — тоже шопотом отвечал Матросов.

В лесу тихо. Батальон шел кратчайшим путем с большими предосторожностями. Нельзя громко говорить, курить, стучать. Слышалось только непрерывное шуршанье снега, подобное шуму деревьев, да порой доносился откуда-то волчий вой.

Теперь командиру батальона Афанасьеву ясно, что не только танки, пушки-самоходки, тягачи и «катюши» и прочую технику, но даже простую повозку протащить невозможно в болотах этой лесной чащобы. Но полковые

пушки позади всё же тащили, впрягаясь в них целыми подразделениями.

Полный, добродушный комбриг Деревянко обычно говорил с людьми с усмешкой, но перед началом этого перехода, подчеркивая важность предстоящей операции, хмуро и строго напомнил капитану Афанасьеву:

— Боевой приказ во что бы то ни стало выполнить точно и полностью!

Горячий и вспыльчивый Афанасьев даже покраснел: видимо, его обидело это настойчивое напоминание.

— Слушаюсь, — сказал он сдержанно; только ноздри его нервно вздрагивали.

Теперь он, преодолевая глубокий снег, так быстро пробирался в голову растянувшейся колонны, что за ним еле поспевал связной. Капитан заботливо советовал бойцам, как удобнее тащить и нести тяжести, как выбирать твердый, не проваливающийся снег. Обогнав колонну, он останавливался, пропускал ее мимо себя, подбадривал бойцов, потом снова обгонял их, следя за движением каждого человека.

Вскоре немного прояснилось. В небе засверкали звезды, над лесом поднялась луна. На белом снегу обозначились темные тени от деревьев.

Матросова удивляла неутомимая подвижность комбата Афанасьева. Забегая вперед и возвращаясь назад, он удлинял свой трудный путь вдвое, втрое, видно, всей душой отдаваясь своему делу. Вот он, взволнованный, торопится назад. С пригорка видна растянувшаяся колонна. Сзади почему-то остановилась минометная рота. А дальше в лощине тащили и не могли вытащить увязшую в болоте пушку. Там же возбужденно размахивал руками замполит Климских. Теперь ясно, что говорил на дневке комбат о пушках: «Что я их — на горбу понесу?»

Матросов увидел отстающего Антощенко, махнул ему рукой, будто говоря: «Поднатужься, иди вперед, помогу».

Но тут же автоматчикам было приказано вернуться к минометчикам и помочь им нести разобранные минометы. Матросов с другими подошел к заместителю командира минометной роты по строевой части — лейтенанту Курташову, которого впервые увидел несколько часов назад в селе Михаи и проникся уважением к нему.

После тяжелого ранения в ногу Курташов лечился в московском госпитале и, боясь, что потеряет свою часть, не долечившись, поехал ее разыскивать. От Торопца трое суток, дни и ночи, припадая на больную ногу, Курташов шел вдогонку своей части. Он отлично знал, что часть, преодолевая маршевые трудности, торопилась в бой, и боялся опоздать. Матросов смотрел, как в селе Михаи Курташов крепко обнимал и целовал людей своей роты. Было видно: в этом с виду неповоротливом сероглазом казаке из станицы Цымлянской жила упрямая, страстная солдатская любовь к своей части, к своим боевым друзьям. И теперь, распределяя между бойцами ношу, он был особо деятелен и подвижен, хотя от него, разгоряченного, шел пар и мокрые от пота пряди его чуба прилипли ко лбу. Глаза его так поблескивали, будто говорили: «Вот я и дорвался-таки до настоящего дела!»

— Это разрешите мне, товарищ лейтенант, — сказал Матросов, схватившись за плиту миномета.

— Что ты, брат! В ней девятнадцать килограммов, — возразил Курташов. — Ты мал, надорвешься. Давай кого покрупнее.

— Ничего, я попробую. Потом с Дарбадаевым буду чередоваться.

И Матросов взвалил плиту на спину.

Колонна снова двинулась вперед, вытянувшись в цепочку. И опять всех обогнал комбат со связным. С застрявшими пушками он оставил замполита Климских, а сам вел батальон вперед. Дорога́ каждая минута. «Всякое промедление пагубно для успеха операции», — эта мысль не покидала его и воплощалась в каждом его движении, поступке. Это чувствовали подчиненные и подтягивались.

Теперь все были нагружены ношей, даже офицеры. Старшина Кедров следил, чтоб не было ни одного отстающего, и сам был обвешан вещевыми мешками, а подмышкой нес бумажный мешок с сухарями.

— На поляне волчий след я разглядел, — поровнявшись с Матросовым, шепнул он. — Знаешь, след будто один, а вижу — шел целый выводок, голов шесть-семь. Это они так идут за вожаком, ступка в ступку. А вечером видел поползня. Кургузый такой остронос, в голубоватом плаще ползет, понимаешь, по дереву головой вниз и по-

клевывает кору. Смехота! Жаль, — тебя близко не было. И вообще тут на виду так и шныряют белки, зайцы, тетерева, а стрелять нельзя. Вот обида!

Неусыпная страсть охотника или желание развлечь людей заставляли этого седоусого сибиряка говорить о зверях и птицах.

— Эх, мне бы на охоте с вами побывать, товарищ старшина! — сказал Матросов, согнувшись под ношей.

Старшина, и правда, на несколько минут отвлек его от беспокойной мысли. Сбилась вниз портянка и жмет левую ногу. Переобуться нельзя, шагая в общей веренице по тропе, глубокой, как канава, и свернуть с тропы нельзя: справа и слева заснеженная чащоба. Да и что получится, если бойцы будут сворачивать в сторону? И он старается шагать, кривя ногу внутрь ступней, чтоб портянка не терла. Очень растрогала его чуткость Дарбадаева, когда тот сам осторожно снял с его спины минометную плиту.

— Скоро ли хоть привал? — спросил Макеев.

— Лучше не знать, когда привал, — ответил Матросов. — Когда знаешь, трудней всего итти последние километры, даже метры.

— Вообще лучше скорей в бой, чем это! — с раздражением сказал Макеев. — Что это за война! Из последних сил выбиваешься.

Матросов снимает с его плеча минометный ствол:

— Это, Макеша, и есть война; испытание во всем: кто выносливее, у кого крепче нервы, выдержка. Слов нет, тяжело, а я доволен. Пришел, значит, наш час, и можно показать, что мы настоящие солдаты. Верно, тезка?

— Правильно, — ответил Воронов.

Матросов хочет сказать, что и ему тяжело, что ноет натертая нога и лямка вещевого мешка больно впилась в плечо, но не говорит об этом, знает: сразу совсем расхнычется Макеев, и никому не легче будет от его жалоб.

«Привал, привал!» — вдруг полетело по цепи желанное слово, и люди опустились в снег, где кто стоял.

— Эх, покурить бы! — вздохнул Костылев.

— Можно изловчиться. В рукаве потягивать.

Антощенко всё время молчал, и Матросов спросил его:

— Как нога, Антошка?

— Молчи. Нехай хоч як жар пече, — стерплю.

— Ого, какая сила воли! — сказал Воронов.

— Воля? — отозвался Матросов. — А мне кажется: делай всё как надо — вот тебе и воля. Во-время пришить хлястик, почистить оружие и смело итти на опасность — это и есть воля. Верно я говорю, тезка?

Но Воронов уже спал сидя, с нераскрытым кисетом в руке; спали Дарбадаев и Макеев. Смыкались глаза и у Матросова. Он откинулся назад на вещевой мешок и хотел вздремнуть, но к нему подсел Белевич:

— Перед боем в партию хочу вступить. Одобряешь?

— Это, Михась, очень, очень хорошо, — сразу оживился Матросов от такого важного разговора.

— Да вот одной рекомендации нехватает.

— А хочешь, я с Кедровым поговорю? Замечательный старик! — И, помолчав, добавил: — Большевик!

Взволнованные, они оба задумчиво смотрели на синие звезды, мерцавшие между лапчатыми ветвями елей и сосен.





Глава XVII

СЛОВО-КЛЯТВА

Это был последний привал батальона перед выходом на исходный рубеж. Еще малый переход, и кончится Большой Ломоватый бор, а за его западной опушкой — фашисты.

Предрассветная белесая муть окутала лес. Бойцы наскоро привели в боевой порядок вооружение и повалились на снег. От усталости и бессонной ночи ныло всё тело, слипались глаза.

Матросов, пошатываясь от переутомления и дорожа каждой секундой, вытоптал себе ямку под старой елью, бросил туда несколько еловых веток и лег, подложив под голову вещевой мешок. Было зябко. Он втянул шею в поднятый ворот шинели и, чтоб скорее согреться, свернулся в калачик, как в детстве. По телу разливалась ноющая истома, и сразу же сладостная дрема сомкнула веки.

Он, кажется, крепко уснул, но его разбудил знакомый голос комсорга:

— Комсомольцы, вставай! Живенько — на собранье!

«Снится или взаправду?» — в полусне думал Матросов. Неодолимое желание продлить сон еще хоть на секунду покорило его, и, забыв обо всем, он опять крепко заснул.

Но неусыпная сила сознания, что довела его и до этого привала, помогла ему через несколько секунд открыть отяжелевшие веки. «Меня ведь это зовут. Итти надо. Надо».

Разминая ноющее и будто свинцом налитое тело, он поднялся. Зябкая дрожь пронизывала его всего. Болели ступни ног, болел каждый сустав. Нестерпимо надоел уже постоянный холод, и опять кругом снега, снега, снега.

Поодаль в серой мгле среди деревьев он разглядел группу людей. Туда же подходили комсомольцы, поеживаясь от холода и дивясь такой ранней поре собрания.

— Мать честная! — потирал руки Воронов. — Совсем память проспал и забыл: мы ведь именинники! Двадцать третье февраля. Двадцать пятая годовщина Красной Армии. Может, потому и собрание: именинникам подарки дадут.

— Верно, Мишка, — сказал Матросов, уже подтянутый и бодрый, — завтра великий праздник. Только я так понимаю: не нам подарки, а от нас полагается подарок матушке нашей Родине. Верно?

— Так выходит, — ответил Дарбадаев. — Верно.

Подошли комроты Артюхов, парторг Кедров и комсорг Брагин. Все притихли. Артюхов сказал собравшимся, что имеет важный приказ. Рота должна занять деревню Чернушки и для выполнения этой ответственной задачи выступает через несколько минут.

Матросов и Дарбадаев перемигнулись: «Вот и подарок Родине».

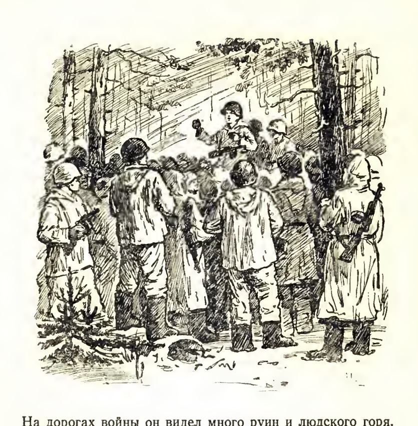
Артюхов объяснил, как решать эту боевую задачу, подчеркнул, что только быстрота, молниеносный удар обеспечат успех операции. Он надеется, что коммунисты и комсомольцы и в этих боях, как всегда, будут служить примером для всех.

Комроты, конечно, знал больше, чем сказал. Успешное наше наступление под городом Локня и выход на железнодорожную линию Локня — Насва открывали широкий оперативный простор.

Но первое большое препятствие перед батальоном — деревня Чернушки.

— Ну, кто хочет сказать? — спросил комсорг Брагин.

Матросов считал, что на собраниях он горячится, говорит нескладно, и неохотно выступал, но на этом собрании выступил одним из первых. Он сказал то, о чем много раз думал. Слова искать долго не приходилось.



На дорогах войны он видел много руин и людского горя. Он с этого и начал, выйдя в круг:

— Что ж тут говорить?.. За что фашисты убивают наших людей? За что?

Он помолчал. Поправил на груди автомат. Посмотрел на сидящих и стоящих бойцов, сурово сдвинул к переносью брови, и глаза его зажглись гневом.

— Только за то враги убивают нас, что мы — русские, советские, что любим нашу землю, свою Родину. Великая правда озарила наш созидательный, вдохновенный труд, нашу счастливую жизнь. Рабство и смерть несет нам враг. Значит, священная наша обязанность — беспощадно бить врага, освободить от него родную землю.

Он еще подумал, переступил с ноги на ногу, крепче

сжал автомат и продолжал раздельно и взволнованно, точно произнося присягу и запоминая каждое слово:

— Пришел наш час, и мы отомстим врагу за все муки наших людей. Приказ командования мы выполним. И за нашу Родину, за наш народ я буду бить врага по-комсомольски, буду бить, пока руки мои автомат держат, пока бьется мое сердце. Верьте совести, товарищи, драться буду, презирая смерть.

— Верно сказал, — послышались голоса.

После собрания его окружили товарищи. Обычно холодновато-насмешливые, глаза Воронова заблестели, когда он крепко сжал руку Матросова:

— Саша, хорошо ты сказал! Мне даже вспомнилось: «И сердце его пылало так ярко, как солнце. . .»

Матросов оживился.

— А ты слышал, почему полевой мак цветет? — и обветренное лицо его посветлело.

— Ты рассказывал в землянке.

— Тише, — шепнул Матросов, показав глазами в сторону.

Под ветвями огромной ели, как под шатром, шло партийное собрание.

Парторг Кедров, выпрямившись, читал заявление Михася Белевича:

— «Партия Ленина — Сталина ведет народ к победе, и я хочу в бой итти коммунистом. . .»

— Молодец Михась! — шепнул Матросов.

Парторг сам дал Белевичу вторую, недостающую, рекомендацию. И хотя теперь дорога была каждая минута, партбюро поставило вопрос о приеме Белевича на общем партсобрании.

Он был принят единогласно.

Когда двинулись на исходный рубеж, подул предутренний ветер. С деревьев падали комья снега.

Бойцы шли молча, вслушиваясь в отдаленный орудийный гул. Под ногами монотонно хрустел снег, и сами бойцы теперь в маскировочных халатах белели, как снег.

Дарбадаев шел за Матросовым. Человек большой физической силы, он завидовал внутренней собранности и душевной силе друга. Дарбадаев чувствовал потребность поговорить с ним.

— Ты вот на собрании сказал, Сашутка: «Пока бьется сердце. . .» — сильно сказал. А если, к примеру, танк на тебя одного пойдет?

— Ну, что ж? И танк человек сделал. Значит, человек и сильней. Постараюсь подшибить танк, вот и всё.

— Так-то оно так. А если не подшибешь?

— Глупости говоришь! — хмурился Матросов. — «Если» да «если», — хоть «распроесли», а не убегу. Придумаю что-нибудь, выстою. Да я понимаю, Михаил, куда ты клонишь. Думаешь, мне жить не хочется? Чудак! Да я очень хочу жить. Сам прикинь: меня ждут Лина, Тимошка, учиться я хочу. . . Да что толковать? По-настоящему только начинаем жить-то. Помню, говорили мне, что человек будет управлять даже ветрами и тучами. Понимаешь, как это интересно? Я, может, инженером буду. . .

— А я хочу агрономом, — сказал Антощенко. — У нас такая земля жирная, родючая, що коли умело обработать ее, — весь мир пшеницею засыплем.

— А как твоя нога? — тихо спросил Матросов.

— Молчи, Сашко. Часом так больно, що в глазах мутится. А я тут як сгадаю про Лесю и дидусю, то и не чую в ноге боль. В душе больней.

— Ничего, Петрусь, крепись. А ногами своими ты и до Берлина еще дойдешь.

У Матросова приподнятое настроение. Хочется каждому сказать что-нибудь хорошее. Он рад, что участвует в большом деле.

Рота автоматчиков идет впереди колонны.

Комроты Артюхов чувствует приближение важных событий. Ему нужен расторопный и смелый связной. Он решает взять Матросова, который понравился ему еще на станции Земцы.

По душе командиру роты и выступление Матросова на комсомольском собрании.

Артюхов посоветовался со старшиной, и тот одобрил его выбор.

— Гожий вполне, — вся рота любит его.

— Вызвать его ко мне!

— Слушаюсь!

Матросов идет впереди автоматчиков. Кедров хочет сам передать приказание ротного и догоняет его.

— К ротному, живо! .. С повышением тебя.
— С каким, товарищ старшина?
— Иди, иди, узнаешь. — И усмехается: воинский устав велит называть бойца по фамилии и говорить ему «вы», а он, Кедров, никак не может говорить этому безусому пареньку «вы».
Матросов сошел с тропы и остановился, поджидая ротного.
Артюхов, подходя, разглядел его:
— Матросов?
— Я, товарищ старший лейтенант.
— Будешь моим связным. Иди за мной.
— Есть итти за вами!
На рассвете батальон вышел на опушку Большого Ломоватого бора. За поляной начинались вражеские укрепления.





Глава XVIII

БОЙ ЗА ЧЕРНУЮ РОЩУ

В серой рассветной мгле комбат Афанасьев, комроты Артюхов и его связной Матросов увидели за поляной в заснеженных кустарниках холмы дзотов и густо нагроможденные по опушке Черной рощи снежные глыбы, имеющие форму треугольников, обращенных острием к поляне. Правее, где разведгруппа была в ночном поиске, таких сооружений не было. Афанасьев разгадал их назначение. За этими неуклюжими ледяными глыбами были скрыты огневые точки врага.

Разведчики доносили, что дзоты были и перед деревней Чернушки.

Кругом стояла зловещая тишина. Противник либо еще не заметил передвижения наших подразделений, либо заметил, но выжидает выгодной для себя минуты, чтоб разом обрушить огонь всей своей лесной крепости на наших людей.

Комбат Афанасьев недовольно морщился. Батальону приказано взять деревню Чернушки с хода на рассвете, а уже начинало светать. Время может быть упущено. А пушки застряли где-то в болоте, и не все подразделения еще вышли на исходный рубеж. Медлить нельзя ни минуты. И комбат принял смелое и рискованное решение — напасть на противника внезапно и стремительно ворваться в Черную рощу. Затем подавить с тыла расставленные по опушке рощи огневые точки противника и двигаться дальше к деревне Чернушки.

Автоматчики, готовые каждую секунду вступить в бой, тихо и настороженно двинулись за боевым охранением вперед по узкой поляне, а за ними потянулись другие подразделения. Чтоб лучше руководить боем, с автоматчиками идет и командир батальона Афанасьев. Идти трудно. Ноги увязают в глубоком нетоптаном снегу. Невзначай можно напороться на минное заграждение. А комбат молча всё машет рукой, торопит: «Скорей, скорей!»

Люди ускоряют шаг. Автоматчики уже подходят к кустарникам, пересекая поляну.

Но вдруг впереди лихорадочно застучал пулемет, взвилась ввысь ракета, заливая поляну бледнозеленым мертвенным светом. И сразу кругом поднялся оглушительный грохот. Частые ослепительные вспышки возникали кругом; пули, осколки мин и снарядов, трассирующие пули, казалось, летели со всех сторон.

Фашисты, видно, не ждали наступления на этом участке фронта, защищенном многокилометровыми лесами и болотами. Они подняли тревогу лишь в тот момент, когда наши автоматчики приблизились к их дзоту. Зато теперь ошалело заработала вся их сложная система огня. По вспышкам было видно, что ожили и неуклюжие треугольные сооружения.

Где-то совсем близко слышались возгласы врагов:

— Ауф! Ауф! [1] — приказывал один.

— Цетер! [2] — взвизгивал другой. — Цетер! О, майн готт, цетер!

Третий командовал твердым голосом:

— Цу мир! .. Фор! Фор! [3]

— Скорей! Скорей! — уже кричал комбат Афанасьев.

Громкое «ура» смешалось с грохотом взрывов. Автоматчики ворвались в Черную рощу.

Огонь усиливался с каждой минутой. Особенно бушевал он позади вышедших на поляну подразделений.

Тут, на болотной низине, не было траншей и обычного расположения боевых порядков противника. Судя

---

[1] Ауф! — Встать!
[2] Цетер! — Караул!
[3] Цу мир! Фор! — Ко мне! Вперед!

по огню, вдоль поляны полукругом густо насажены дзоты и снежными глыбами возвышающиеся треугольники, из-за которых били пулеметы.

Командир батальона быстро разгадал замысел врагов. Отсечным огнем они хотели отделить от остальных ворвавшиеся в рощу подразделения и, отрезав им путь к отступлению, уничтожить.

Комбат приказал командиру роты автоматчиков Артюхову быстрее втягиваться в рощу, расширяя ворота прорыва. А сам со стрелковой ротой стал продвигаться рощей вправо.

Оставшаяся группа во главе с Артюховым быстро приняла боевой порядок.

Матросов бегал по роще и поляне, передавая приказания Артюхова командирам взводов, минометчикам. Раньше он много думал и готовился к опасностям и преодолению страха. После ночного поиска он уже считал себя обстрелянным, бывалым. Но здесь в первые минуты его снова потряс оглушающий грохот боя, и было опять так страшно, что подкашивались ноги и сами несли в сторону. Гулкое лесное эхо многократно повторяло каждый звук, и винтовочный выстрел казался пушечным. А вокруг, зловеще свистя, всё еще пролетали снаряды, от взрывов которых подпрыгивала земля, часто рвались мины, огненными разноцветными струями проносились трассирующие пули. Но теперь Матросов увидел, как хладнокровно работали в бою, именно работали, бывалые солдаты, и овладел собой.

— Оглушай «лимонкой» и выковыривай их оттуда! — кричал кому-то Кедров неузнаваемо строгим басом, окружая с группой автоматчиков один из треугольников; и голос его звучал властно, по-хозяйски.

И Матросов, подражая во всем бывалым солдатам, делал перебежки, залегал, вскакивал, бросал гранаты и расчетливо посылал автоматные очереди. Лицо его стало бледносерым, брови гневно сдвинуты, глаза презрительно сощурены, движения уверенны. Он заслонял огнем командира роты, чтоб тому свободнее было командовать.

Автоматчики отбивали треугольники один за другим и втягивались в рощу. Все понимали: в этом жестоком бою они сами хозяева своей судьбы. Смерть, обступившую вокруг и витающую над головами, можно победить

только хладнокровием и стойкостью. И люди дрались упорно и сосредоточенно.

Утром Артюхов уже хорошо знал вражеские укрепления. Треугольники, сложенные из бревен в две стены, внутри стен и снаружи засыпаны землей, а зимой обложены снегом, который был полит водой и превратился в лед. А на каждой высоте, метров через пятьдесят, стояли дзоты. Дзоты были и за рощей, на подступах к деревне Чернушки. Это была лесная крепость со сложной системой огня — одно из сильных укреплений врага на Калининском фронте.

И вот, когда фашисты уже были выбиты из нескольких дзотов и треугольников, в самый разгар боя был ранен Артюхов. Пуля пробила правую кисть руки, и пистолет упал на снег. Но Артюхов левой рукой зажал правую выше простреленной кисти и продолжал руководить боем.

— Разрешите, перевяжу! — предложил Матросов.

— Курташова ко мне! — не слушая связного, приказал Артюхов, глядя в сторону.

Матросов побежал по опушке рощи к минометчикам. Увидел в кустах сандружинницу Валю, — она забинтовывала голову автоматчику, — сказал, чтобы она скорее сделала перевязку командиру роты. А когда с Курташовым вернулся к Артюхову, за ним уже гналась Валя.

— Разрешите, — упрашивала она, — а то заражение, гангрена!

Артюхов быстро повернулся к Курташову:

— Подави мне скорее вон те огневые точки.

— Слушаюсь!

— Ну, разрешите, перевяжу, — просила Валя.

— Постой, постой! — увертывался от нее Артюхов и, будто забыв о ране, из которой лилась кровь на одежду, на снег, делал указания, пока Курташов с минометчиками устанавливал минометы. — Снег разгреби, чтоб лучше плита легла. Живей, живей!

«Неужели ему не больно? — дивился Матросов. — Терпит».

— Расчеты — к бою! — торопливо командовал Курташов. — По пулемету! Заряд основной. Угломер тридцать два сорок. Прицел шесть ноль-ноль. О готовности доложить!

Матросов смотрел на возбужденные глаза Артюхова, и ему казалось, что команда Курташова очень длинна.

— Первый! — отозвался командир первого минометного расчета и, повторив всю команду Курташова, крикнул: — Готов!

Так же заявил о своей готовности и командир второго расчета.

«Как они долго, как долго!» — думал Матросов.

— Первому! — командовал Курташов. — Одна мина — огонь!

Мина не долетела до треугольника, откуда бил пулемет. Курташов волновался:

— Прицел шесть двадцать!

— Разрешите перевязать, — с бинтом в руке топталась Валя около Артюхова, не обращая внимания на пролетающие пули и осколки. Но Артюхов следил за полетом второй мины Курташова и довольно усмехнулся, увидев, как мина рванула снег у самого треугольника.

— Стрелять взводом! — повеселел Курташов. — Три мины, беглый огонь!

Мины подавили точку.

— Давай огонь туда! — указал Артюхов Курташову и сам теперь протянул Вале простреленную руку, устало садясь на пень. Но тут же заметил, как из рукава шинели у Курташова потекла кровь, и нахмурился.

— Скорей перевяжи ему! — со злостью сказал он. — Ишь, разгорячился, не замечает.

Курташов, обычно тихий, застенчивый и неуклюжий, теперь, как ветер, метался от миномета к миномету и, когда к нему подошла сандружинница, закричал на нее, сверкая глазами:

— Не путайся тут! Не на танцах.

Тогда на него строго крикнул Артюхов:

— Чего петушишься? Ишь, прохлаждался тут, как на бульваре! Не берегся, пока не ранило. Пусть перевяжет.

Курташов сердито глянул в глаза Артюхова. Не берегся? Он мог бы этот упрек вернуть самому Артюхову, но вытянулся и хотел вскинуть руку ко лбу.

— Слушаюсь, — сказал он, а руку так и не мог поднять. Перебитая выше локтя, она болталась, как плеть. Весь пронзенный острой болью, охнув, он тихо опустился на колено.

Матросов успел поддержать его. Сандружинница, перевязывая, сказала, что должна эвакуировать раненого.

— Куда? — злобно спросил Курташов. — Что я — из госпиталя добирался сюда, чтоб только сутки повоевать и опять в госпиталь?

— Оставь его пока, — сказал Артюхов Вале. — Всё равно некуда эвакуировать.

Курташов продолжал свою работу. Иногда он ложился на снег, минуту лежал в оцепенении, потом снова вскакивал и опять командовал.

Бой продолжался весь день. К вечеру было подавлено десятка два огневых точек, враги вытеснены из половины рощи. Но теперь невозможно было продвинуться ни вперед, к Чернушкам, ни назад, к бору, на соединение с остальными подразделениями батальона, отрезанными бушующим на поляне огнем.

Уже накапливались раненые, кончались боеприпасы, а фашисты всё усиливали огонь, видно, готовясь к атаке.

★

Вечером фашисты начали атаку. Днем они, видимо, собирались с силами, подтягивая подкрепления. Зато теперь с лихорадочной торопливостью ошалело лезли со всех сторон, окружая ворвавшиеся в рощу подразделения батальона. Местами красноармейцы отбивались врукопашную, дорожа каждой пулей, каждой гранатой, которые были на исходе.

Порывистый, горячий капитан Афанасьев не мог усидеть на командном пункте и неожиданно появлялся в разных местах рощи, руководя боем. В людях он уверен, но его подавляла ответственность: приказ пока не только не выполнен, но под угрозой гибели была бóльшая и лучшая часть его батальона.

Он подошел к Артюхову посоветоваться. С виду он был спокоен, но вздрагивающие белые губы выдавали его волнение.

— Рощу я обратно не отдам, но к нашим надо скорей прибиться. Как думаешь?

— Если рощу держать. . .

— А как же? — вспылив, перебил его капитан, отрезая всякую возможность колебанию. — Роща — теперь лучший плацдарм к броску на Чернушки.

— Я и говорю, — ответил, поморщившись, Артюхов: — если рощу держать, нельзя отвлекать людей на прорыв обратно: противник сильно жмет. Надо скорей установить живую связь.

Пули просвистели над головами.

— Что такое? — удивился Афанасьев, глядя на царапины, прочеркнутые пулями на коре осины. — Сверху откуда-то бьет.

— Очевидно, с колокольни, что за Чернушками, в деревне Черной, — сказал Артюхов. — Надо живую связь во что бы то ни стало. Пусть четвертый батальон ударит слева. Тут легче пробить брешь.

— Но кого послать?

Матросов вскинул руку к ушанке:

— Мне разрешите, товарищ комбат. Я проберусь.

Командиры переглянулись.

— Ты мне нужен, — сказал Артюхов.

— У меня своих молодцов хватит, — сказал капитан и поспешно ушел, услышав учащенную стрельбу в другом конце рощи.

А через несколько минут к Артюхову прибежал запыхавшийся связной Афанасьева в изодранном осколками маскировочном халате.

— Разрешите доложить... тяжело ранен комбат: в бок и бедро.

Артюхов мучительно скривился.

— Жив? — почти крикнул он.

— Жив, но сразу упал, хрипит, — говорил связной всё тише и, бледнея, клонился набок. — Фашисты наседают, — с трудом выговорил он и упал лицом в снег. Теперь видна была его окровавленная спина.

— Возьми двух автоматчиков, — приказал Артюхов Матросову. — Беги туда. Спасти комбата во что бы то ни стало.

— Есть спасти комбата!

Когда Матросов, Воронов и Антощенко бежали к раненому Афанасьеву, туда же впереди их бежала и везде успевающая Валя Щепица.

Но вот между ними и Валей разорвался снаряд, и она потонула в вихрящемся облаке дыма. Только взвилась вверх, как оторванное крыло птицы, пола ее шинели.

Автоматчики на секунду остановились: их испугала мысль о гибели веселой краснощекой песенницы.

— Валя, Валя! — со страшной силой крикнул Костылев, не смея покинуть занимаемую позицию. Крикнул с неясной надеждой, что она отзовется.

Но внимание автоматчиков отвлекло другое событие. Фашисты нажали с фланга и стали теснить взвод Дубина. Автоматчики побежали на помощь. И неожиданно в дыму показалась во весь рост Валя Щепица. Взмахнув чьим-то автоматом, она закричала:

— За мной, вперед! — И, перебегая от дерева к дереву, от куста к кусту, она стреляла, падала, стреляла лежа, опять бежала и стреляла из-за дерева, взъерошенная и юркая.

Но впереди Вали, слева, уже строчил из автомата Костылев, время от времени поглядывая на нее.

Матросов, Антощенко и Воронов обогнали Валю и вместе с другими автоматчиками погнали врагов назад. Тогда Матросов и крикнул ей, чтоб скорее делала перевязку комбату.

И, будто очнувшись от забытья, сандружинница тряхнула опаленной челкой и побежала к Афанасьеву.

— Отбили? — хрипло спросил он, тяжело дыша.

— Отбили, товарищ капитан.

— Орлы, — пошевелил он желтеющими губами.

Но похвала не радовала ее. Раны у комбата тяжелые и опасные. Кровью смочена одежда и снег под ним.

Валю терзало противоречие: она считала себя преступницей, что не сразу принялась за перевязку, а сгоряча побежала с автоматом, но было бы еще хуже, если бы сюда прорвались враги.

К ней подбежал Матросов и помог втащить комбата в воронку.

Перестрелка опять приближалась. Десятка два вражеских солдат пробивались правее автоматчиков. И на секунду посветлело лицо Матросова, когда он увидел, что Антощенко по-оленьи быстро перебежал от сосны к сосне и точной автоматной очередью скосил четырех фашистов. «Да у него ж нога почти до кости растерта»...

К Антощенко пробрались Воронов и Костылев. Но фашисты стали окружать их. Матросов побежал к друзьям.



— Держись, ребята! — крикнул он и, прислонясь к дереву, дал из автомата очередь одну, другую.

Несколько вражеских солдат упало, остальные скрылись в густом кустарнике.

У Антощенко росинками покрыла лоб испарина. Подбородок его дрожал в такт автоматной дроби. Матросов усмехнулся:

— Так их, Антошка! Пришла наша работа.

— Даю им жару, — сквозь зубы ответил тот.

А вражеские пули пролетали всё гуще. И всё чаще шевелились кусты ольшаника, где накапливались гитлеровцы. Их уже было в несколько раз больше автоматчиков.

— Держись, братки! — повторял Матросов, и те держались, не отходя ни на шаг.

Со стороны Большого Ломоватого бора послышалось, наконец, долгожданное грозное «ура». То пробивался

на помощь четвертый батальон. Фашисты ослабили нажим на рощу.

— Вытащим теперь комбата из полосы огня, — сказал Матросов и вместе с Вороновым под огнем потащил по снегу лежавшего на спине Афанасьева.

В безопасном месте Матросов сдал комбата сандружиннице и вернулся к Артюхову.

Жизнь комбата была отвоевана.

Артюхов принял командование батальоном и руководил боем. Теперь у него слева был надежный сосед — четвертый батальон. Фашистов за ночь выбили из Черной рощи и прогнали за открытую лощину. Но со стороны Чернушек автоматчики были встречены таким плотным огнем, что открытую лощину пересечь было невозможно, и они закрепились на западной опушке рощи.

На рассвете Артюхов увидел за лощиной заваленные снегом стоящие по полукругу три мощных немецких дзота. За дзотами на пригорке виднелась деревня Чернушки, вернее, то, что осталось от нее, — две-три разбитые избы. Но пробиться к деревне было трудно. Амбразуры дзотов изрыгали такой яростный огонь, поливая поляну пулями, что дальше двигаться было невозможно. Наступление приостановилось.





Глава XIX

ЗА РОДИНУ! ЗА СТАЛИНА!

Над заснеженными верхушками леса взошло солнце. Дохнул морозный легкий ветерок, затрепетали позолоченные солнцем тонкие корочки на стволах сосен. Золотистые лучи пробивались всё ниже сквозь облепленные снегом лапчатые ветви обомшелых сосен и елей и ложились на снегу светлоголубыми пятнами. Синий в лесной тени, снег на поляне уже искрился и слепил глаза сверкающей белизной. Предутренний снегопад прикрыл следы минувшего боя.

Матросов и в это минутное затишье уже ненасытно глядел вокруг удивленно-пытливыми глазами на волнующую красоту зимнего лесного утра. Ему хотелось, как всегда, всё приметить, узнать. Он вспоминал и не мог вспомнить, — кто же из художников изобразил зимний лес таким, каким он его видит в эту минуту? «Все музеи осмотрю, а дознаюсь обязательно».

Поеживаясь от холода, он усмехнулся: две желтозобые синицы сели на сосне совсем рядом, сдунув крыльями снежную пыль, и, испуганно оглядевшись, начали бойко цвикать, перекликаясь.

«Смелые пичужки».

Но, взглянув на суровое, озабоченное лицо Артюхова, на его раненую руку, Матросов сразу сам нахмурился, сдвинул брови.

Артюхов, лежа на снегу, неловко оперся на локоть правой руки, приподняв забинтованную кисть. Намокший от крови бинт обледенел. Матросов подивился терпению

командира, который будто и не замечал своей раненой руки.

— Товарищ комбат, разрешите, я скоренько вам перевязку сделаю, — предложил Матросов. — У меня есть индивидуальный пакет. А то еще гангрена или...

— Не до нежностей! — сердито проворчал Артюхов.

Да, боль всё острее жгла его застуженную рану. Перевязка нужна. Но во сто крат мучительнее сознание невыполненного боевого приказа. Артюхов нарочно и выполз сюда на самую опушку рощи, чтоб лучше разглядеть укрепления противника. Он неотрывно смотрел сквозь кусты на огромные снежные холмы, под которыми легко угадывались три больших вражеских дзота на подступах к деревне Чернушки. Это их бешеный огонь мешает продвижению. Дзоты сейчас молчат и похожи на безобидные сугробы или снежные горки, с которых на салазках катаются детишки. Он стиснул зубы от щемящей обиды: вот они перед носом, проклятые дзоты. Пушкой в пять минут можно бы разбить их прямой наводкой. А батальон вторые сутки из-за них пройти не может. При малейшем движении наших бойцов дзоты покрывают огнем всю поляну, где ими пристреляна каждая точка. А подавить дзоты нечем. Пушки, видно, и теперь всё еще тащат к линии фронта, одолевая лесное бездорожье. Вызвать на дзоты огонь наших дальнобойных батарей нельзя: слишком сближены с противником наши боевые порядки. А враги зловеще умолкли; видно, готовят контратаку или подтягивают подкрепления.

Артюхов повернул исхудалое за эти дни лицо:

— Матросов, живо узнай у начштаба, — может, подтянули хоть одно орудие.

— Есть, товарищ старший лейтенант, — ответил связной и пополз назад. Он чуть задел ветку, с нее полетели хлопья снега, и сразу же гулко застукал вражеский пулемет, захлопали в ветвях разрывные пули. Желтозобые синицы сорвались с веток. Одна упала на снег, другая заметалась меж сосен. Матросов на минуту прильнул щекой к снегу. Потом пополз, поглубже врываясь в снег и стараясь не задевать веток.

Скоро он вернулся. Нет, ни одного орудия не подтянули и едва ли скоро подтянут.

— Еще начштаба докладывает... звонил «хозяин»,

очень сердится и требует, чтобы скорее мы выполнили боевой приказ. Говорит, что мы задерживаем весь ход наступления.

Артюхов поморщился, кусая губу. Матросов смотрел на любимого командира, хотел помочь ему и не знал как.

Выдержанный офицер Артюхов теперь заметно нервничал, не находя выхода. Он добровольно принял на себя командование батальоном, когда был тяжело ранен комбат Афанасьев; принял, как велела офицерская честь. Но тем важнее сохранить эту честь теперь, когда с наибольшей пользой для дела он должен выполнять свою новую тяжкую роль командира батальона.

Матросов выжидающе смотрел на командира. Связной, как и все бойцы, был уверен в его опытности и знал, что зря он не пошлет на погибель ни одного человека.

Артюхов избегал смотреть в глаза связному, который не раз слышал, как он говорил подчиненным, что безвыходных положений нет. Что ж ему придумать, чтобы с наименьшими потерями и скорее выполнить приказ?

Командир батальона наконец принял решение. Он приказал штурмовым группам автоматчиков подавить сначала фланговые дзоты: они ближе среднего дзота, и к ним кустарниками легче добраться. Атаковать сперва левый дзот и, когда противник сосредоточит здесь огонь, рывком броситься к правому, а потом штурмовать центральный дзот.

Но едва бойцы двинулись к левому дзоту, как сразу же опять застучали пулеметы всех дзотов.

Матросов теперь с волнением смотрел, как по снегу в кустарнике ползли автоматчики его роты. Некоторые из них недвижно замирали на снегу, остальные всё быстрее ползли, ползли. Вот Щеглов и Суслов вскочили, перебежали под огнем несколько метров, упали. Потом снова, несмотря на шквальный огонь, продвигались вперед короткими перебежками, будто вперегонки. За ними следовали другие автоматчики. Почти у самого дзота Суслов взмахнул автоматом и упал. Но Щеглов уже подбежал к дзоту сбоку и бросил в его амбразуру гранату. Поднялся и раненный в ногу Суслов. Сильно хромая, он взобрался на дзот и бросил гранату в дымовую

дыру. На дзот вскочил и Щеглов. Они о чем-то кричали бойцам, окружавшим дзот.

Матросов не выдержал; когда увидел в дыму на умолкшем дзоте Щеглова и Суслова, взмахнул варежкой:

— Молодец комсомол! Здóрово, братки!

Усмехнулся и комбат, кривя губы.

Левый дзот умолк, но бойцы залегли под бушующим огием.

Артюхов приказал штурмовать правый дзот.

Матросов встал на колеии; глаза его горели. Ему хотелось туда, в бой. После того как он отбил от фашистов раненого капитана Афанасьева и сам видел, как враги падали от его пуль, им овладело чувство солдатской удали, отваги, его не покидало приподнятое настроение. Когда бой затянулся у правого дзота, он не вытерпел:

— Товарищ старший лейтенант, разрешите мне туда, — кивнул он на дзот. — Там надо бы перебежками в обход...

— Сиди, не кипятись, — строго ответил Артюхов. — Мне нужен будешь.

Но вот иесколько бойцов сделали именно так, как думал сделать Матросов: перебежками обошли дзот справа, забросали его гранатами. Через минуту бойцы уже овладели дзотом. Быстрота и ловкость дали успех в эту решающую минуту.

С бешенством обреченного иеистовствовал только центральный дзот. Этот дзот имел три амбразуры и бил одновременно по фронту и флангам. Он не давал продвииуться вперед нашим бойцам. Группа лейтенанта Кораблева несколько раз поднималась на штурм дзота, но бешеный огоиь его косящим свинцовым веером покрывал поляну и валил людей, едва они успевали сделать несколько шагов. За час они продвинулись кустарниками всего на несколько метров. Теперь их отделяла от дзота всего метров на полсотни снежная поляна, где была пристреляна каждая пядь.

Двигаться дальше было невозможно и на месте оставаться иельзя. Каждая секунда промедления уносит человеческие жизни. Но не отступать же! Нет, отступление теперь было бы равио позориой смерти. Ярость

бойцов усиливается. Они еще и еще раз кидаются в атаку. Но, неся тяжелый урон, снова падают и залегают на снегу.

Артюхов, разгорячась и забыв про опасность, ползет в кустарнике вперед, правее залегших бойцов группы Кораблева, чтоб лучше изучить картину боя. За ним ползет и его связной Матросов. Они залегли за старой обомшелой елью. Дзот уже близко. Хорошо видны его амбразуры, изрыгающие огонь.

Трудно Артюхову что-нибудь придумать. Он убедился, как тяжело брать эту лесную крепость. Всё чаще бьет вражеская артиллерия, и снаряды ложатся всё ближе. За деревней Чернушки поодаль виднеется деревня Черная, и оттуда, из двери церкви, бьет пушка, а с колокольни строчит пулемет.

Артюхов чувствует возрастающую ответственность за исход операции, за судьбу лежащих под огнем людей.

А минуты текут, время идет, и растет угроза: если приказ сейчас не будет выполнен, — пропадет весь смысл трудного похода, боевых усилий батальона, и эта неудача и напрасная гибель людей может повлечь целую цепь неудач по фронту.

Всё небо уже заполнено гулом летящих наших эскадрилий. Вторые сутки журавлиным треугольным строем летят и летят они на запад. Всё время слышны с вражьей стороны раскаты их бомбежек. И слышен впереди справа и слева громовый говор наших «катюш» и многочисленных орудий... Этот неумолчный гул всё отдаляется, — значит, наша техника огнем своим всё крушит и сметает на своем пути и наступление развивается. А под Чернушками — заминка, тупик.

Командир батальона нервно кусает губу, прислонив разгоряченный висок к обледенелой коре ели. Может, его решения ждут штабы дивизий, армий, ждет Кремль? А решения нет, и каждая секунда промедления несет неотвратимую и непоправимую опасность. Что делать?

Матросов понимающе пристально смотрит на командира и с замиранием сердца ждет. Если бы только мог он помочь чем-нибудь этому отважному человеку!

Артюхов принимает решение.

— Шесть автоматчиков — ко мне! — говорит он, сердито взглянув на связного.

Матросов кинулся выполнять приказание. Он еще не понимал смысла нового приказа, но его уже обрадовал твердый голос командира, его ободряющая решимость.

Примечая, куда летят и где хлопают разрывные пули, Саша ползком и перебежками быстро и ловко добирается до бойцов.

— Ну и жара, хлопцы! Прямо, как ящерка, от пуль увертываешься.

И в который уже раз вслух с благодарностью вспомнил трудные тактические учения в Земцах. Хорош бы он был тут, под огнем, без той спасительной выучки!

Он хорошо знал людей своей роты и решил отобрать самых умелых и храбрых, коммунистов и комсомольцев. И принято ведь так, что в самых трудных случаях боя командиры говорят: «Коммунисты и комсомольцы, вперед!» Но когда отбирал самых лучших, произошла минутная заминка.

— Куда, Сашко? — спросил Антощенко, обиженный, что его не выбрали.

— На особое задание.

— Ну, а я ж, по-твоему, — инвалид чи що? Бери и меня.

— Нельзя, Петро: у тебя нога ранена.

— Та чи ты сдурел? — вспыхнул Антощенко. — Я тими ногами ще до Берлина дойду.

— Понимаешь, нельзя, — строго ответил Матросов, досадуя, что тратит время на разговоры.

— Так друг же ты мне чи не друг? — почти крикнул Антощенко, и злые слезы блеснули в глазах.

Матросов пристально взглянул на него и понял его неутолимую, жгучую жажду мести за Лесю, за деда, за Украину. Это она, месть, давала ему силы терпеть боль. Что ж, он достоин быть избранным в число шести.

— Ладно, Петро, беру, — отрывисто сказал Матросов, отчего Антощенко улыбнулся:

— Добре, Сашко. Я буду по-комсомольски...

Потом стали требовать Воронов, Дарбадаев, чтоб Матросов взял и их.

— Не могу, — рассердился тот. — Приказано только шесть...

Артюхов напряженно ждал, считая секунды. И когда автоматчики подползли к нему, он приказал троим:

— Подползите к дзоту вон там, справа, и гранатами — по амбразуре...

— Есть, товарищ старший лейтенант, — ответил Михась Белевич и пополз впереди Костылева и Антощенко.

Бойцы из штурмовой группы Кораблева, готовые каждый миг ринуться вперед, затаив дыхание смотрели на ползущих троих товарищей и ждали. Туда же, на друзей, с волнением смотрел и Матросов. Справа и уже впереди всех полз Костылев, быстро загребая руками, в середине — Петро Антощенко. Он полз, опираясь больше на колени и приподнимая ступни: нога, видно, причиняла ему острую боль. Но вот Костылев взмахнул автоматом и замер на снегу. Антощенко покосился на него и поспешно пополз дальше. Склонив голову в снег, остался недвижен и Белевич. Теперь полз один Антощенко. Он торопливо забрасывал вперед руки и полз то вправо, то влево, видно, обманывая пулеметчика, и приближался к дзоту.

Матросов ежился от ледяного холодка, охватывающего, казалось, самое сердце, и ему хотелось всю свою силу влить в каждое движение друга.

Но вот и Антощенко как-то неловко завалился на правый бок, взмахнул рукой, как пловец для нового броска в волны, — и замер. Рука упала на снег.

«Петро, Петро!» — мучительно сморщился Матросов, крепко стиснув зубы, чтоб не крикнуть.

Теперь все три бойца в светлых маскировочных халатах недвижно лежали на чистом снегу, окрашивая его кровью.

Смолк и вражеский пулемет, будто выжидая.

Артюхов на секунду закрыл глаза, скривился: тяжким камнем ложится на сердце ответственность за жизнь каждого человека, а люди у этого дзота пока гибнут зря. И миновать нельзя это проклятое место.

Но бледное лицо Артюхова сразу же опять приняло упрямое выражение. Он повернул голову к ожидающим троим бойцам.

— Приказ ясен?

— Ясен! — ответили те.

— Ползите еще правее. И живо!

Поползли еще три комсомольца, впереди — Макеев.

И Матросов с надеждой пристально смотрел теперь на него. Нет, не ошибся он в друзьях. Даже ворчун Макеев впереди других торопился выполнить приказ.

— Правее, тезка, правее, Макеша! — страстно шептал он.

Опять зловеще и яростно заревел дзот. И через несколько минут были сражены и эти бойцы.

Но дзот изрыгал огонь не утихая. Фашисты-пулеметчики неистовствовали. Неумолчно хлопали пули, всё чаще раскалывалось небо, и раскатисто ревел бор от взрывов снарядов.

Артюхов и Матросов переглянулись. Холодные росинки пота от напряжения проступили на лбу Артюхова. Он сдвинул на затылок сивую цигейковую ушанку, и от виска до виска лоб пересекли морщины, которых раньше Матросов не видел. Ноздри и запекшиеся губы комбата вздрагивали.

Матросов часто дышал, будто ему нехватало воздуха, глядел на командира и с трепетом ждал. Всё понятно: настала самая решительная минута боя.

Он сдвинул к переносью темные брови. Суровая решимость отразилась на его юном обветренном лице.

— Теперь мне разрешите, — сказал он тихо, но требовательно.

Артюхов взглянул на него без обычной командирской строгости. Лицо его даже посветлело от смущенной отеческой улыбки, и на миг он забыл про окружающий адский грохот. Он никогда и не думал, как трудно оторвать от себя этого шустрого паренька, который стал роднее сына.

«Что смотрите? — говорили чуть прищуренные ясные глаза Александра. — Опасно, да? Могу не встать, как и те шесть? Знаю. Но ждать больше нельзя, — и я иду. Иду — за жизнь друзей, за победу. . .»

И командир молча утвердительно кивнул ему:

«Иди, Сашок. Надо».

Матросов пополз еще правее, кустарниками, точно и не к дзоту. Плотно припадая к снегу, он ловко загребал его руками и быстро двигался вперед.

Старшина Кедров узнал Матросова в этой быстро скользящей по снегу фигуре в белом маскировочном халате и удивился:

«Куда, куда он один, если не может весь батальон?»

За движением Матросова с волнением следили десятки людей, лежавших под огнем и готовых броситься вперед при первой возможности. Он, ползущий по снегу, теперь был их надеждой и силой. Только бы дополз! Доползет ли? Или упадет на снег, как те шесть?

Он и сам понимал и чувствовал: на него с надеждой смотрели все друзья, бойцы и командиры — его фронтовые учители и судьи: и любимый офицер Артюхов, и старый сибиряк большевик Кедров, и комсорг Буграчев, и Воронов, и Дарбадаев. И еще смотрели на него все, кто в жизни чистой рукой коснулся его сердца, поверил в благородство его души: и днепровский пасечник дед Макар, и учительница Лидия Власьевна, и воспитатель Трофим Денисович, и синеглазая Лина.

Вот он уже прополз полпути. Фашисты не то не замечали его, не то нарочно подпускали поближе, и пулемет их бил куда-то влево.

Матросов мельком взглянул туда и чуть не вскрикнул от удивления, радости и тревоги: окровавленный Антощенко тоже полз к дзоту. По нему и бил пулемет. Движения Петра были неловки, он всё заваливался набок, падал лицом в снег, но, осыпаемый пулями, без каски и без автомата, упрямо полз вперед. Весь израненный, он, видно, и сам не верил, что доползет до дзота, но полз и полз на виду у врагов, презирая их огонь.

Какая сила, какие помыслы влекли вперед этого простого солдата? Он ведь, кажется, уже сделал всё, что мог. Что он еще может противопоставить встречному огню, израненный и безоружный?

И изумленное лицо Матросова посветлело: Петро, Петруся, друже верный, ты идешь на гибель, чтобы отвлечь на себя огонь вражеского пулемета, чтоб ему, Александру, и всем помочь в общем деле. Вот она — непобедимая сила дружбы, согретая любовью к народу, к Родине!

Александр убыстрил движения. Еще метр, еще два. Но гитлеровцы повернули дуло пулемета к нему, и пули стали решетить снег то впереди него, то позади. Александр замер, выжидая. Вот-вот могут задеть проклятые. Если б была у него броня из крепчайшей стали, — на-

прямик пошел бы, а то у него такое же тело, как у тех друзей, что полегли на снегу. Он стал хитрить. Когда струю огня отводили от него, он, чуть приподняв автомат, быстро полз вперед; когда пули ложились близко, он замирал, и его, видно, принимали за одного из убитых.

Жесткий комочек снега с задетой ветки упал за воротник и неприятно холодил, но стряхнуть его нельзя. И на задубелые пальцы подышать некогда. Каждый миг, может, векам равен. Раньше он много думал, кем ему быть. В эту минуту ему хотелось быть быстрокрылой птицей, чтоб скорее налететь на врага.

Дзот уже близко — на бросок гранаты; и Александр, лежа на боку за кочками и кустиками можжевельника, вытащил гранаты и, став на колено, бросил их одну за другой. Они взорвались у самого дзота. Пулемет на минуту смолк, потом опять заработал. Но Александр был в выигрыше: пока рвались гранаты и длилась заминка врагов, он сделал несколько прыжков вперед и снова упал на снег. Он только на миг увидел уже недвижно лежащего на снегу, иссеченного пулями Антощенко с откинутой рукой, вспомнил его улыбку и слова: «Я буду по-комсомольски. . .»

И снова он полз, увертываясь от огня за низкими кустиками и кочками. Дзот был уже совсем близко.

Он опять вскочил на колено, вскинул автомат и ударил по амбразуре автоматной очередью.

В дзоте грянул взрыв, и густой дым хлынул из амбразуры (после узнали: взорвалась мина от попавших в нее пуль).

Александр поднялся во весь рост, вскинул над головой автомат и крикнул лежащим на снегу и нетерпеливо ждущим атаки бойцам:

— За Родину! За Сталина! Вперед! — И сам рванулся к дзоту.

Бойцы мгновенно вскочили и с криком тоже бросились вперед.

— Ура-а! Ура-а! — загремело над полем боя.

На поляне приподнялся на руках даже тяжело раненный Белевич. Он не мог ползти, но одухотворенное лицо и горящие глаза его устремлены вперед.

Умолкший было пулемет в дзоте опять заработал и



заставил бойцов снова залечь в снегу. Упал и Александр Матросов.

Пулемет отчаянно строчил теперь по всей поляне. Однако прежней уверенности и крепости в руках пулеметчика уже не было.

Александр лежал впереди сраженных своих товарищей так близко от дзота, что его обдавало пороховым дымом. Теперь он был особенно осмотрителен. Малейшее необдуманное движение могло погубить его, но и медлить опасно. Теперь он должен действовать только наверняка.

Под правой щекой таял колючий снег, и ледяной холодок проник в сердце. И билось оно так сильно, словно вздрагивал весь мир.

Трудно ему одному на этом открытом смертном поле. Почти на виду у врага он лежал тут, на этой заснеженной поляне, перед огнедышащей, как пасть чудовища, амбразурой дзота. Любая пуля теперь могла скосить его.

И пронеслись ясные и быстрые, как блеск молнии, мысли о том, что́ наполняло беспокойным, но счастливым смыслом всю его жизнь. Он вспомнил слова сказки: почему цветет полевой мак; вспомнил солнечный пахучий ветерок, что с просторов Родины дышал запахами медоносных трав, когда он и Лина стояли на холме и мечтали о счастье познавать и перестраивать мир.

Еще вспомнил он заветные слова вождя, что нужно быть готовым отдать за счастье человечества все свои силы, все свои способности, всю свою кровь, каплю за каплей...

Еще вспомнил он: сотни глаз с надеждой устремлены на него и ждут. Ждут города и села, ждет народ, чью правду и мудрость принес он сюда. Нельзя обмануть веру людей в комсомольца.

И торжествующей отвагой зажглось его сердце, неодолимой силой налились мышцы.

И страха уже не было. Он готов, как и каждый из его друзей, лежащих на снегу, крушить врага чем только возможно, даже смертью своей.

Он выждал момент, когда фашист отвел от него пулемет. Но пулемет стал бить по залегшим нашим бойцам.

Александр вскочил, мгновенно обшарил свое боевое хозяйство, но у него уже не было ни одной гранаты и пуст был автоматный диск. Оставалась только неизмеримая душевная сила и святое желание — скорее и лучше исполнить свой воинский долг. Обветренное, почти детское лицо его озарила богатырская решимость. Теперь он был сильнее огня, сильнее страха смерти...

Стремительными прыжками приблизился он к дзоту справа. Поровнявшись с ним, резко свернул влево и, подавшись вперед, грудью своей припал к огнедышащей черной амбразуре.

Пулемет захлебнулся, умолк, и на миг стало так тихо, что слышно было, как шумят сосны да звенит еще в ушах утихший грохот боя.

Потом вскочили бойцы и, как по команде, хотя команда не успела последовать, бросились вперед, к дзоту. Теперь путь к нему был открыт.

И нечем стало дышать Александру Воронову. Он рванул ворот гимнастерки и на бегу закричал:

— Впере-е-од!

На всё поле боя раздавался голос Дарбадаева:

— За Матросова — вперед!

Все стремительно бежали к дзоту. Туда же полз, часто падая, и окровавленный Михась Белевич и тоже хрипел:

— Вперед! Вперед!

Через минуту в дзоте закончилась рукопашная схватка, и враги лежали на куче гильз, среди обломков оружия.

К дзоту подбежали политотделец капитан Буграчёв и парторг роты старшина Кедров.

Александр Матросов лежал у амбразуры, и кровь его под солнцем алела на снегу ярко, как полевой мак, о котором когда-то говорил ему дед-пасечник.

Буграчев, сжав вздрагивающие губы, стал выполнять суровое воинское правило. Расстегнув белый маскировочный халат сраженного комсомольца, из левого бокового кармана гимнастерки он вынул то, что у самого сердца носил Александр Матросов, — комсомольский билет с именем Ленина. Буграчев, став на колено и расправив на полевой сумке комсомольский билет, под именем владельца его наискось написал:

«Лег на огневую точку противника и заглушил ее, проявил геройство».

Потом стали искать еще документы. Вытащили из кармана фотокарточки с изображением девушки со светлыми глазами и неизвестного паренька, может быть, брата Тимошки. Еще вынули из кармана телогрейки две ветки с распускающимися почками — тополевую и ракитовую. В походе Матросов всё хотел спросить старшину, почему они распускаются в такую раннюю пору. Ветки попросил старшина. Нюхая пахучие тополевые почки и гладя серебристый пушок ракитовых, глухо сказал:

— Жизнь любил Сашок...

И положил ветки под каску, чтоб не сломались.

Потом, поправив усы, он взял могучими руками тело Александра, как любимого сына, поднял лицом к небу и бережно положил его на плащ-палатку, разостланную на сугробе.

— Солдату, сынок, на снегу, как на лебяжьем пуху.

И, наглядевшись, осторожно закрыл огрубелыми пальцами его недвижные голубые, как небо, глаза.





Глава XX

МАТРОСОВЦЫ

Рота автоматчиков выстроилась, чтобы отдать воинские почести герою. Красноармейцы только что вышли из боя. Одежда их испачкана глиной, изодрана осколками, пулями и пропахла копотью и пороховым дымом. Еще слышен гул боя, и земля под стоящими вздрагивает от взрывов. Но воспаленные суровые глаза людей неотрывно смотрят в эти последние секунды на просветленное тихой улыбкой лицо Александра Матросова. Выражение его лица будто говорит: «Ну вот, я сделал всё, что только смог».

Тяжело шагая, подходит Артюхов с подвязанной рукой и молча смотрит на застывшую, точно искусным резцом скульптора вырезанную на мраморе улыбку его связного. Смертельная рана Матросова тщательно прикрыта. Своим сердцем заслонил Александр друзей от гибельного вражьего огня. И сдается, скажи этому, словно уснувшему, пареньку: «Есть важное, но опасное задание», — и он, неустрашимый, сразу проснется, блеснет быстрыми голубыми глазами:

«Мне разрешите. . .»

Трудно дышит командир и всё не может начать свое краткое прощальное слово.

Белоснежные редкие облака плывут и плывут над головой. На потоптанном снегу недавнего поля боя валяются обломки оружия. Воронки с вывороченным суглинком зияют, как раны. Но там, где не было боевых схваток, — сверканье снега под солнцем слепит глаза.

Наконец командир говорит, и голос его тверд, как в бою. Говорит о великом подвиге, совершенном рядовым Александром Матросовым:

— Сегодня двадцать пятая годовщина нашей славной Красной Армии, единственной армии в мире, которая всегда боролась за освобождение человека, за его мирный созидательный труд и теперь в жестокой борьбе отстаивает нашу Родину, ее великие идеалы, мировую культуру от фашистского варварства... В день годовщины нашей армии товарищ Матросов принес ей самый драгоценный дар — свою жизнь. Грудью, сердцем своим закрыл он от врага друзей, всех нас.

Потом говорит седоусый парторг Кедров, и голос его дрожит:

— Погиб пламенный советский патриот — Матросов... Его вскормила, вспоила и научила наша партия, мать-Родина... Научила любить народ больше своей жизни.

Говорят его друзья — комсорг Брагин, Воронов, Дарбадаев, и каждый клянется, что будет таким же беззаветно преданным сыном своей Родины, как Саша Матросов, и так же, как он, будет бить врага бесстрашно, по-комсомольски, по-матросовски.

На побуревшей щеке сандружинницы дрожит слеза, но Валя стоит в строю с гордо поднятой головой.

Недолго говорят бойцы у могилы: надо в бой.

Вся рота становится на колени, прощаясь с героем.

Потом троекратно гремят ружейные залпы.

Бойцы засыпают могильный холмик землей и чистейшим снегом и снова идут в бой.

Только один боец вернулся в Большой Ломоватый бор. Посыльный нес в политотдел донесение о подвиге рядового Александра Матросова. А ночью полевой телеграф, наряду с боевыми оперативными сводками, сообщил об этом событии штабам корпуса, армии фронта.

До сердца необъятной страны, до Кремля долетела скорбная и гордая весть о подвиге рядового советского воина. Президиум Верховного Совета Союза ССР присвоил Александру Матросову звание Героя Советского Союза.

Подразделение, где служил Матросов, стало гвардейским полком.

На весь Советский Союз прозвучали слова приказа товарища Сталина.

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ № 269

8 сентября 1943 г. г. Москва

23 февраля 1943 года гвардии рядовой 254 Гвардейского стрелкового полка 56 Гвардейской стрелковой дивизии Александр Матвеевич Матросов, в решающую минуту боя с немецко-фашистскими захватчиками за дер. Чернушки, прорвавшись к вражескому ДЗОТ'у, закрыл своим телом амбразуру, пожертвовал собой и тем обеспечил успех наступающего подразделения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 г. гвардии рядовому тов. Матросову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Великий подвиг товарища Матросова должен служить примером воинской доблести и героизма для всех воинов Красной Армии.

Для увековечения памяти Героя Советского Союза гвардии рядового Александра Матвеевича Матросова приказываю:

1. 254 Гвардейскому стрелковому полку 56 Гвардейской стрелковой дивизии присвоить наименование:

«254 Гвардейский стрелковый полк имени Александра Матросова».

2. Героя Советского Союза гвардии рядового Александра Матвеевича Матросова зачислить навечно в списки первой роты 254 Гвардейского полка имени Александра Матросова.

Народный Комиссар Обороны
Маршал Советского Союза
И. СТАЛИН

Гвардейцы-матросовцы поклялись перед новым алым шелковым знаменем, на котором золотыми буквами вы-



шито имя их однополчанина, воевать по-матросовски. И неоднократно в боях они доказали это на деле.

Жаркий бой идет за высоту, господствующую над местностью. Три раза отважные гвардейцы поднимаются на штурм высоты, и каждый раз враг прижимает их к земле огнем. Тогда встает друг Матросова, комсорг полка Александр Воронов и кричит:

— Товарищи, если кому станет трудно, если кому станет страшно, вспомните Матросова. За мной, друзья, вперед!

И все, как один, поднялись гвардейцы на штурм и сбили врагов с высоты по-матросовски.

Фашистский танк идет прямо на пулеметчика матросовского полка Павлова. Вражеские солдаты бегут за танком и сидят на нем. Павлов пулями косит бегущих

врагов и, как ветром, сдувает их с танка. Как гора, танк наплывает на матросовца, но он, не дрогнув, до последнего вздоха всё бьет и бьет из пулемета — по-матросовски.

Бои идут за Пушкинский заповедник на Псковщине. Село Михайловское, Тригорское, парки — здесь каждый куст и каждая пядь земли освящены памятью великого поэта. Вот уже прорвана оборона фашистов, наступление ширится. Но на одном участке с высоты бьет немецкий пулемет и не дает продвинуться. Тогда к пулемету бежит гвардеец Трошин и, ловко увиливая от пуль, петляет, падает, встает и, подбежав на двадцать метров, гранатой взрывает огневую точку.

— За Матросовым, вперед! — кричит он.

Гвардейцы рванулись вперед. Смахнув рукавом пот, заливающий глаза, с ними дальше бежит и Трошин, бьет врага по-матросовски.

Гвардеец Дубницкий с несколькими бойцами пробрался в тыл противника и занял важную высоту, парализовав вражескую оборону на этом участке. Четыре дня и ночи пытались фашисты взять эту высоту обратно и не могли. Наконец в живых там остался один только Дубницкий. И когда была установлена с высотой радиосвязь, командир стал благодарить защитников:

— Спасибо, гвардейцы! Держитесь, шлю вам сейчас подмогу.

— Благодарю за помощь, — ответил Дубницкий. — Но мы, комсомольцы, держимся крепко.

— А сколько вас?

— Матросов да я.

★

Уфимской детской трудовой воспитательной колонии присвоено имя ее бывшего воспитанника — Александра Матросова. И в альбом героев войны Тимофей Щукин поместил портрет своего названого братишки. Все питомцы колонии поклялись учиться, работать и, когда придется, воевать по-матросовски.

В цехах заводов и фабрик, на колхозных полях необъятной страны комсомольцы в труде и борьбе берут пример с Матросова.

Под знаменем с его именем гвардейцы-матросовцы били врага под Ельней, Смоленском, Оршей, освобождали от гитлеровцев Белоруссию, Латвию. На руках неся пушки, они прошли считавшиеся непроходимыми болота и топи, лесные чащобы Лубанской низменности, взяли Ригу, сбросили фашистов в море.

В день победы, в день всенародного ликования, по Красной площади, перед древними стенами Кремля, перед вождем, с чьим именем армии шли к победе, торжественно пронесли однополчане свое победоносное матросовское гордое знамя.

★

Кремлевские куранты отзванивают вечерний час. И в это время каждый день во всех частях и подразделениях Советской Армии люди выстраиваются на поверку.

По сигналу горниста «повестка» выстраивается на поверку и первая матросовская рота. Вот солдаты замерли в строю. Старшина называет первое имя в списках полка:

— Герой Советского Союза гвардии рядовой Александр Матросов.

Тихо. Так тихо, что слышно дыхание бойцов. И в торжественной тишине звучит твердый голос правофлангового:

— Герой Советского Союза гвардии рядовой Александр Матросов пал смертью храбрых в бою за свободу и независимость нашей Родины.

Так вечно будут вспоминать в полку благородный подвиг рядового Матросова. Да, его нет на поверке, но в светлых помыслах, в сердце каждого солдата живет его бессмертный образ.

О нем знают в народе стар и мал. Художники пишут его портреты, поэты воспевают его в своих стихах. Легенды и песни про него слагает народ.

★

Яркий летний день. Слепящие лучи солнца заливают мирные поля и леса. Дремотно шумит под солнцем Большой Ломоватый бор. Воздух напоен запахами трав,

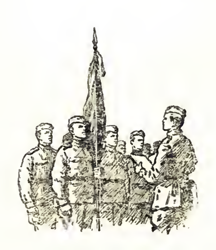
полевых цветов и сосновой смолы. Лесными тропами и дорогами от разных городов и сел, далеких и близких, идут к деревне Чернушки отряды молодежи, идут и поют песни о голубоглазом пареньке, рожденном днепровскими просторами.

И друзей его, старых и новых,
Враг не сможет упорство сломить.
Мы в любую минуту готовы
Его подвиг святой повторить.

Песня затихает. Девушки и парни в праздничных нарядах подходят к зеленому холмику с красной звездой над алым обелиском и кладут на него цветы и венки. Много цветов кладут они, и цветочный холмик растет, растет. И каждый юноша, и каждая девушка дают здесь нерушимое обещание — в труде и в бою быть такими же, каким был Саша Матросов.

Шумит лес. И плывет под солнцем вечно молодая песня.

1946—1949 гг.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Рисунки Ю. Непринцева

Оформление Б. Воронецкого

Переплет Н. Седикова

Отзывы и пожелания издательству направляйте по адресу: Ленинград, Невский пр., 28, Детгиз

Для среднего и старшего возраста

Ответственный редактор ***Б. Летов***

Художник-редактор ***Ю. Каселев***. Технич. редактор ***Н. Сусленникова***. Корректор ***Е. Заморзаева***. $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бум. л. $3^{3}/_{16}$ + 7 вклеек. Печ. л. 10,4 + 7 вклеек. Уч.-изд. л. 10,26. Авт. л. 9,21. М-13543. Тираж 45 000. Подписано к печати 18/IV 1950 г. Зак. № 383. 2-я фабрика детской книги Детгиза Министерства Просвещения РСФСР. Ленинград, 2-я Советская, 7.

